

# ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ

Перевод  
с подстрочника

Роман

Премия «Ясная Поляна»

«Лучший и, безусловно,  
самый актуальный русский  
роман последних лет».

Галина Юзефович



Проза нашего времени (АСТ)

ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ

**Перевод с подстрочника**

«Издательство АСТ»

2013

УДК 821.161.1-31  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

**Чижов Е. Л.**

Перевод с подстрочника / Е. Л. Чижов — «Издательство АСТ»,  
2013 — (Проза нашего времени (АСТ))

ISBN 978-5-17-117491-0

Евгений Чижов — прозаик, дважды финалист «Большой книги» и лауреат премии «Ясная Поляна» (за роман «Собиратель рая»). Может ли поэт находиться у власти? А возглавлять государство? И каким будет государство, во главе которого стоит поэт? «Перевод с подстрочника» не просто о путешествии на Восток, но о погружении в иное мироощущение, противоположное европейской рациональности. О «проклятом поэте» на вершине властной пирамиды; о пророке, командующем танковыми дивизиями. Наконец, о поиске чуда и вдохновения, встреча с которыми несёт гибель.

УДК 821.161.1-31  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-117491-0

© Чижов Е. Л., 2013  
© Издательство АСТ, 2013

# Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Евгений Чижев

## Перевод с подстрочника

*Поэзия – это власть.*  
*О. Мандельштам (в разговоре)*

*Тугульды – улыды<sup>1</sup>.*  
*Восточное выражение*

---

<sup>1</sup> Жил – умер (*торкск.*).

## Часть первая

В купе было душно, с нижней полки доносился стариковский храп, он отчаялся уснуть и безнадежно ворочался, подолгу глядя в окно, где над уносящимися тёмными пространствами парила полная луна, и в памяти снова и снова возникал подстрочник стихов, которые ему предстояло перевести: «...Истошно крича, надрываясь, сбивая ритм чугунного сердца, скрипя железными сухожилиями, поезд летит по тоннелю, прорытому в глухой ночи, к сияющей в далёком конце раскалённой луне». Олег так и этак поворачивал длинную негнущуюся фразу, пытаясь вписать её в размер, и думал о том, что автору этих строк, кажется, тоже случалось переживать бессонную ночь в вагоне. Он, правда, путешествовал не в тесном купе, как его переводчик (один из десятков, разбросанных по всему миру... Сколько их ломает этой ночью голову над его стихами?), и даже не в кондиционированном СВ. У него, как и Олег Печигин, не переносившего самолётов, был для дальних поездок собственный специально оборудованный поезд.

Днём пейзаж за окном был таким однообразным, что казалось, поезд часами движется на месте. Серо-зелёную плоскость степи, на протяжении многих километров огороженную зачем-то колючей проволокой, изредка нарушали похожие на игрушечные городки мусульманские кладбища, гораздо более яркие, чем настоящие города и посёлки, тусклые от пыли. Смуглые люди на переездах и перронах небольших станций выглядели так, точно простояли всю жизнь под палящим солнцем в ожидании поезда, который остановится у их платформы, но ни один ни разу не остановился, и всё-таки они не уходили, глядя прищуренными глазами на очередной проходящий состав с привычной обречённостью, прикованные к месту остатками неистребимой надежды. Однажды Олег увидел посреди пустой степи одинокого человека, изо всех сил махавшего на ходу руками. Олег наблюдал за ним, пока тот не исчез из вида, но так и не смог понять, зачем он это делал: подавал знаки кому-то невидимому или стремился привлечь к себе внимание пассажиров поезда, чтобы остаться в их памяти?

В купе только старик коштыр с нижней полки неотрывно смотрел в окно, чему-то постоянно улыбаясь, точно пустота пространства, его количество или само по себе движение поезда, отбрасывающее назад эти бесконечные степи, доставляли ему удовольствие. Глядя на него, Олег вспомнил, какой радостью был в детстве первый летний выезд из города на дачу, долгое путешествие на электричке, когда он намертво прилипал к окну (чем дальше они ехали на юг, тем больше всплывало в сознании давно забытое, точно по мере того, как становилось всё теплее, оттаивали глубокие слои памяти), – возможно, в таком же блаженстве пребывал сейчас седой морщинистый коштыр, аккуратно поставивший под стол пару сапог, обутых в калоши. Поддерживать это состояние помогал ему напиток из резко пахнущего спирта в заткнутой самодельной пробкой бутылке и кефира, смешиваемый в железной кружке. Сделав несколько глотков, он включал погромче заунывную, под стать проплывающим пейзажам, музыку по радио и начинал тихонько подпевать отдающим в нос голосом, мерно раскачиваясь в такт, как, должно быть, раскачивался между верблюжьих горбов его предок во главе каравана, идущего по Великому шёлковому пути. Заметив любопытство Олега к напитку, старик предложил ему попробовать. Печигин сперва отказался, потом решил рискнуть, подумав, что, войдя во вкус питья, он, может быть, поймёт, чему улыбается глядящий в окно старик, что он там видит такого, что бескрайняя тусклая равнина ему не надоедает. И действительно, Олегу скоро сделалось уютно в тесном купе, радиомызыка вместе со стуком колёс укачивали его, а пыль на грязном окне всё отчётливее обретала в косых солнечных лучах объёмы и формы, полупрозрачные и сияющие. Оставалось ещё немного прищуриться, изменить угол зрения, и он схватил бы их ускользающий рисунок, разгадал их секрет и постиг бы связь между улыбкой старика

и уносящейся пустотой степи, но тут в животе у него так взбурлило, что он едва успел добежать до туалета. Этим не кончилось, до вечера его пронесло ещё трижды, и только к ночи, когда он уже был вконец измочален и опустошён, желудок успокоился. После этого он смотрел на старика совсем другими глазами, уверенный, что органы пищеварения, а скорее всего, и прочие внутренности устроены у того абсолютно иначе, поэтому гадать, чему он улыбался, глядя в окно, бесполезно. Может, у него и зрение иное, и в проплывающей мимо степи он видит то, чего Печигину вовек не различить...

Столь же безрезультатным оказалось наблюдение и за двумя другими соседями по купе. (Попутчики были первыми коштырами, которых он мог рассматривать без помех, тем более что заняться ему всё равно было нечем: от бессонной ночи у него болела голова, и заставить себя заснуть за перевод он не мог.) Женщина лет тридцати пяти бесконечно шила из лоскутов, которых у неё был с собой целый баул, покрывало и была так поглощена своим занятием, точно больше ничего в целом мире для неё не существовало. Она была красива тяжёлой восточной красотой, с тёмными глазами на загорелом лице и заметным следом полустёртой линии, соединявшей над переносицей густые брови, но держалась так, что Олегу казалось невозможным вообразить даже самую отдалённую степень близости с ней. Не то чтобы она совсем не замечала его и второго мужчину в купе, она даже предложила им свою еду («Кушайте?!»), но при этом они, похоже, были ей не интереснее чемоданов и сумок на полках для ручной клади. На свой счёт, по крайней мере, Печигин был уверен. За всю дорогу он ни разу не встретился с ней взглядом, не соприкоснулся в тесноте, не почувствовал ни малейшего с её стороны любопытства. Правда, ближе к концу пути он заподозрил, что, возможно, ошибается, принимая за безразличие очень хорошо скрытое внимание – чтобы так последовательно избегать любого прикосновения, нужно постоянно быть начеку, всё время помнить о тех, кто заперт вместе с тобой в коробке купе. Но даже если это и было так, никаких подтверждений Олегу заметить не удалось. Женщина почти не поднимала глаз от своего шитья, и оставалось предположить, что она держит спутников в поле наблюдения какого-то неизвестного Печигину органа восприятия.

Третьим был мужчина под сорок со скуластым смуглым лицом, словно составленным из одних прямых углов. В движениях его тоже присутствовала заметная прямоугольность, и, когда он поворачивался на своей верхней полке, казалось, только из-за стука колёс не слышно скрипа этих углов, притирающихся друг к другу. Он почти всё время читал книгу на неизвестном Олегу языке и ни разу не сказал ему ни слова, из чего Печигин сделал вывод, что он, скорее всего, вообще не говорит по-русски. С соплеменниками мужчина изредка общался короткими фразами, звучавшими на слух Олега так, точно они были записаны на плёнку, прокрученную в обратную сторону. Старик и женщина что-то ему отвечали, и уже на второй день пути между всеми тремя установилось такое полное понимание, словно они выросли в одном селе. Каждый был занят своим делом, никто никому не мешал и не навязывался, места всем хватало. А непричастный к этому дорожному уюту Печигин спрашивал себя, не едет ли он в края, где иногда возникавшее раньше ощущение, будто всё, что есть у него общего с окружающими, ограничивается поверхностным видовым сходством, станет неоспоримым фактом.

На третий день степи кончились, пошли пески. Их мёртвое жёлтое море медленно закручивалось муторным водоворотом, вращавшимся со скоростью движения поезда. Кое-где над барханами, как мачты затонувших среди песчаных волн кораблей, торчали геодезические вышки. Вдалеке, мельче мух на скатерти стола, иногда появлялись и исчезали верблюды. Привыкший к городу, Олег с удивлением смотрел на этот оцепеневший под солнцем простор, не предназначенный для человека. С лица подолгу глядевшего в окно старого коштыра незаметно сползла улыбка: пустыня была не шуткой. Он по-прежнему смешивал себе по несколько раз в

день свой жуткий напиток из спирта с кефиром, но спирта, показалось Олегу, наливал теперь больше. Может быть, поэтому между ними завязался наконец разговор.

– Много... – сказал старик как будто с гордостью за пустыню, – много песка!

Олег кивнул. Старик заговорил о водохранилище, вырытом среди пустыни по прямому распоряжению президента (Народного Вожатого – так он его назвал). Оно было недавно закончено и теперь открыто для всех. Сам старик там не был, но видел по телевизору.

– Очень большое! Настоящее море!

По нему даже плавали яхты, включая новую трёхпалубную яхту самого Народного Вожатого – её тоже показали по телевизору. Со временем старик собирался непременно поехать на водохранилище, вода в котором, уверяли, целебная, потому что заполняется из источников, бьющих чуть ли не из самого центра Земли. Оставалось скопить денег на поездку. (Дорогу в Москву и обратно ему оплатил сын, водивший в русской столице маршрутку.) Олег спросил, сколько старик получает. Оказалось, что его пенсия в пересчёте на доллары не дотягивает до тридцати, поэтому он ещё торгует козинаками и семечками возле рынка и в хорошие дни имеет до доллара за день. Об этом приработке старик говорил, хвастаясь: мол, не каждому так удаётся. Нужных документов для торговли у него не было, поэтому милиция его то и дело прогоняла.

– Пустяки всё. Мне денег много не надо. Это молодым рестораны нужны, а я сухофруктами питаюсь – они знаешь какие сытные? С утра пожевал – и до вечера есть не хочешь. Их пастухи с собой берут, когда на целый день со стадами уходят. И полезные. А от масла и сметаны вред один. Свет, газ, вода и соль у нас, спасибо Народному Вожатому, бесплатные, так что у меня остаётся ещё.

– Я читал, что у вас предприятия закрываются, производство по всей стране стоит и работы нигде нет.

– Работы нет для тех, кто работать не хочет. У нас в районе работы сколько угодно – бери землю в аренду, обрабатывай. Только тяжело это, нынешние молодые к такому не привыкли.

– Они, я слышал, в другие страны на заработки едут: кто в Россию, кто в Казахстан, самые ловкие – в Европу.

– Пусть себе едут, на то они и молодые... На мир поглядеть хотят. Никто ж их не держит.

– А ещё я слышал, что прошлой зимой у вас были такие холода, что десятки людей насмерть замёрзли.

– Да, – старик кивнул, по-прежнему пристально глядя в окно на пески, – Аллах холодную зиму дал, давно такой не было. Но чтобы кто-то замёрз, я не слышал. Сгоревшие были. Разведут на полу костёр греться – и уснут возле него. Дом дотла и сгорит. Было.

– Ещё у нас сообщали, будто ваш президент давно болеет, пошли даже слухи, что он уже умер, но это скрывается.

Старик замотал головой с такой уверенностью, точно президент в принципе не мог умереть, был бессмертен.

– Болел, да, но потом Народный Вожатый совершил паломничество по нашим святым местам. Все святые места объехал, и всем поклонился, и после этого выздоровел.

– А стихи его вы читали?

Старик оторвался от созерцания пустыни и впервые остановившимся взглядом поглядел на Печигина.

– Может быть, по радио слышали? Вы вообще знаете, что ваш Народный Вожатый – ещё и поэт, чьи книги выходят огромными тиражами и продаются, мне рассказывали, в каждом киоске?

– Конечно, – торопливо закивал старик, – Народный Вожатый – великий поэт!

– У меня договор на перевод его стихов на русский. Его заключил со мной Тимур Касымов – вы его, возможно, знаете. Может быть, я даже буду с ним встречаться – то есть не с



Тимуром, с ним-то само собой, а с вашим президентом. По крайней мере, Тимур обещал, что постарается устроить мне встречу.

Олег говорил, обращаясь к старику, но рассчитывая при этом привлечь внимание занятой шитьём женщины. И она действительно оторвалась от своего рукоделия.

– Касымов – это тот, который по телевизору?

– Да, он работает на телевидении, часто выступает с комментариями. Я-то сам, конечно, не видел, но он мне рассказывал, что почти каждый день в эфире.

– А я его ещё в газете читал, – сказал старик и засомневался: – А может, это брат его был... На рынке в конце дня много газет остаётся валяться, я подбираю и читаю.

– Вполне возможно, что это был Тимур. Он много публикуется.

– Вы с ним знакомы, да?

В голосе женщины слышалось скрытое волнение. «Достаточно знакомства с человеком из телевизора, – разочарованно подумал Олег, – и от её безразличия и недоступности ничего не осталось».

– С детства. Учились вместе.

– И он хотел, чтобы вы переводили стихи Народного Вожатого?

– Ну да, он почему-то уверен, что у меня это должно получиться...

Женщина снова опустила глаза к шитью, её пальцы сделали пару стежков, потом застыли. Мимо плыла пустыня: плоские крыши низких строений в оазисе, старый мотоцикл с коляской возле колодца, с канистрой вместо пассажира, буровая вышка, пересохшее русло реки, мелкий сухой кустарник и опять пески, пески...

– Это, наверное, очень сложно – переводить стихи...

– Проще, чем писать собственные. И гораздо лучше оплачивается. Бывает, правда, попадают твёрдые орешки, бьёшься над ними, бьёшься – всё попусту. Но зарабатывать ведь как-то надо, а больше я ничего не умею, одними сухофруктами питаться пока не научился. Стихи вашего Вожатого, например, не из лёгких. Хотите, прочту что-нибудь?

– Конечно.

Женщина отложила в сторону шитьё, сложила руки и приготовилась слушать, сразу став похожа на усердную школьницу с первой парты. Старик сделал большой глоток из кружки, поросший белым пухом кадык заходил вверх-вниз. Олег порылся в папке с подстрочниками.

– Здесь где-то было как раз про пустыню. Вот, нашёл.

Пустыня, ты – зевок Аллаха.  
Ты была создана им в тот день,  
когда Всемогущий пресытился разнообразием  
мира форм,  
выражений и лиц – цветов и галактик, рыб  
и людей,  
горных хребтов и червей, облаков и деревьев, когда  
у него зарябило в глазах от их  
смеха, печали, отчаянья, радости, страха, безумия,  
и он  
взлал простейшего: первоматерии без  
формы, такой, какова она есть, и тогда сотворил  
это неисчислимое множество горячего песка,  
пересыпаемого ладонями горизонтов  
из пустого в порожнее и обратно в пустое.  
Небо, глядя тебе в лицо, каменеет, бледнеет.  
Солнце стоит неподвижно, извергаясь, как

вскрытый нарыв.  
Ветер играет с тобой, как ребёнок с дремлющим  
львом,  
дитя в необъятной песочнице, насыпающее  
барханы и снова  
ровняющее их, оставляя следы на тебе, как и брюхо  
гюрзы или эфы.  
Но они исчезают быстрее теней облаков.  
Сквозь городской шум, гвалт новостей, голоса  
друзей,  
визги и твяканье врагов, сквозь нестройную  
музыку жизни,  
в дальнем громе, перекатываемом за  
горизонтом,  
я слышу твой глухой львиный рык, от которого  
дрожит воздух.  
Ты ширишься у меня под сердцем, днём и ночью  
чувствую жаркое дыхание твоей ненасытной пасти,  
из века в век пожиравшей города с их царями,  
крепости с их гарнизонами,  
караваны, гружённые коврами, драгоценностями,  
пряностями, шелками,  
караваны, гружённые неподъёмной тоской,  
вереницы верблюдов, несущих упорство надежды,  
с каждым шагом увязая всё глубже во времени.  
Каждый шаг тяжелее предыдущего, пот заливают  
глаза.  
Ты – дахр. Всем, всем, всем  
твой горячий песок забил оскаленные мёртвые  
рты.  
Все жуют эту пресную пищу смерти, сухой паёк  
времени.  
В твоей лунной безлюдной ночи слышен скрип  
песка на зубах.  
Луна глядит на тебя, как слепой смотрит в зеркало.  
Лишь она тебя знает, заливая своим нежным светом.  
Ты ширишься, перерастаешь себя, твоя  
неподвижность обманчива, твой центр  
ненаходим, твоя форма изменчива.  
Ночью мы с тобой остаёмся один на один, ты  
и я под голой луной,  
под которой тень человека достоверней его самого.  
Слухом сердца слышу оглушительный  
гул твоей тишины. Глазами сердца подолгу  
гляжу в твоё ночное лицо, лишённое черт.  
Ты ширишься,  
как раковая опухоль, под сердцем моей страны.  
Но тебя нельзя удалить, не вырезав вместе и душу.

Закончив, Печигин посмотрел на слушателей. Лицо женщины было непроницаемо-внимательным, старый коштыр глядел на него без удивления, но выжидательно. Похоже, побывав в Москве, он ничему больше не удивлялся; Олег был для него существом иной природы, от которого можно было ждать всего. Убедившись, что чтение завершилось, он вновь принялся молча смешивать в кружке своё питьё.

– Ну что? Как вам? По-моему, хорошие стихи. А в оригинале, с рифмами и соблюдением размера, наверняка ещё лучше.

– Конечно, – с готовностью согласился старик, – гораздо лучше!

Он подошёл, когда Печигин стоял у окна в коридоре, где было не так душно. Встал рядом, но спиной к стеклу. На его словно из одних прямых углов составленном тёмном лице блестели в косом вечернем свете крупные капли пота. Минуты три он молчал, а когда Олег уже собрался возвращаться в купе, заговорил на чистом русском, без всякого акцента:

– Всё, что вы читали и слышали о нашей стране, – только часть правды. В действительности всё гораздо хуже. Я думаю, вам полезно это знать. Прошлой зимой, например, в холода вымерли не десятки, а сотни людей. В горах, где нет ни электричества, ни отопления, замерзали целые кишлаки. Старик ничего об этом не знает, потому что по телевизору или в газетах об этом не было ни слова. Все средства информации под железным контролем власти, в них нет ничего, кроме славословий Гулимову и новой эпохе, начатой его правлением. Разрушенное гражданской войной хозяйство не восстановлено, дехкане живут впроголодь, не только молодые, но вообще все, кто может, уезжают из страны. Гулимов открывает тюрьмы и выпускает на свободу тысячи уголовников, народ ликует по поводу амнистии, а он это делает затем, чтобы освободить камеры для противников режима. Видите блеск – вон там, на горизонте, – повернувшись к окну, он показал на мреющее сверкание вдаль, между песками и небом. – Это соляные озёра. Точно такие же, только ещё больше, есть по ту сторону границы, на нашей территории. В них с вертолётов сбрасывают расстрелянных. Соль разъедает тела, и от них не остаётся ничего. Ни следа. Особенно много их скинули туда после последнего покушения на президента. Вода в этих озёрах должна была выйти из берегов. Да, я думаю, вам нужно это знать. Я, извините, не представился, меня зовут Алишер. Отец, учитель литературы, назвал в честь поэта. В России обычно говорят Алик или Александр.

Он произносил всё это ровным тоном, спокойно, но лицо его кривилось, точно составлявшие его прямые углы теснили и давили друг друга. Похоже было, что он борется с головной или зубной болью.

– У вас ничего не болит?

– Зубы. Буду благодарен за таблетку анальгина, если найдётся.

Печигин сходил в купе за анальгином.

– Многое из того, о чём вы говорите, я слышал раньше. Мы не раз говорили об этом с Тимуром, я сперва не соглашался на его предложение, но в итоге он меня, в общем, убедил. Он утверждает, что это пропаганда противников президента из конкурирующих кланов, чья цель – дорваться до власти.

– Он много чего утверждает, Тимур Касымов. Один мой знакомый прозвал его «человек с пятью головами». С пятью головами и десятью руками, и все эти головы непрерывно говорят, комментируют, дают и берут интервью, разъясняют и поучают, а руки пишут и печатают. Как-то я переключал телевизор, и по трём каналам он говорил одновременно, на разные темы, а по четвёртому ведущий зачитывал его статью! Он везде, в каждом доме, где есть телевизор, а он, к сожалению, есть повсюду, в последнем кишлаке. Коштыры любят телевидение. Вы сказали, что знали его с детства? Удивительно, что у него вообще могло быть нормальное человеческое детство – мне казалось, что это не человек, а гомункулус, выращенный нынешним режимом в колбе телеэкрана. Хотя вообще-то ещё неизвестно, кто из них кого в этой колбе вырастил...

Он помолчал, потом спросил:

– Так каким, интересно, был наш Тимур в детстве?

– Каким он был? – Печигин пожал плечами. – Знаете, это было так давно... Когда долго, хотя и с большими перерывами, знаешь человека, перемены в нём заслоняют то, каким он был раньше. Хотя кое-что, конечно, помню... Ну, он был довольно полным...

– Он и сейчас не худой. – Алишер ухмыльнулся разом скривившей всю сумрачную кубатуру его лица усмешкой.

– Да, но потом, в молодости, когда поступил в университет, он сильно похудел, таким я его в основном и запомнил. А в детстве был, можно сказать, толстяком, но не неуклюжим, а, наоборот, довольно подвижным. Физкультуру не любил и как мог прогуливал, это нас и сдружило, зато обожал возиться, бороться, выкручивать пальцы. При этом быстро входил в раж, краснел, пыхтел, свирепел, от него было не отвязаться, и было уже непонятно, возня это или драка. Выйдя из себя, уже не думал о последствиях, мог швырнуть камень в голову, садануть табуретом. Из-за этого его сторонились, мало кто с ним дружил. Он был, что называется, без тормозов. Но мне он всегда был интересен. У него были такие странные для подростка увлечения. Например, уже лет в тринадцать он очень интересовался политикой. Дома у него висели вырезанные из газет фотографии президентов и премьер-министров, я помню Черчилля с сигарой, Картера, Хрущёва с ботинком в ООН, Муссолини, Рашидова. Отчасти это объяснялось, конечно, тем, что его отец был дипломатом довольно высокого ранга, благодаря ему Тимур потом, когда надоело учиться на философском в университете, без труда перешёл в МГИМО.

– Я знаю, он из семьи, которая у нас всегда была при власти.

– Наша школа была специальная, с хорошим преподаванием языков, там много детей разных советских шишек училось, в том числе и из республик. Но мы тогда никакого значения тому, кто откуда, не придавали. Я вспоминал о том, что он коштыр, только когда он доставал восточные сладости, каких тогда ни у кого не было: козинаки, особую халву с орешками, корбочки с рахат-лукумом. Он их по карманам рассовывал, и пальцы у него почти всегда от этого липкими были. Но делился легко, не жмотничал, это меня, конечно, очень к нему привлекало. Ещё, помню, меня поражала его способность подолгу играть с самим собой – в шахматы, в точки, даже в лото и карты, – как будто никто ему вообще не нужен. Он мог целыми днями рисовать какие-то планы и схемы сражений, в смысл которых никого не посвящал, даже меня, лучшего друга...

Пока Печигин говорил, далёкое сияние на горизонте стало наискось приближаться к железной дороге, и через пять минут поезд уже шёл вдоль слепящей, словно затянутой льдом, поверхности соляного озера. И хотя это было не то озеро, куда, если верить Алишеру, сбрасывали расстрелянных, торчавшие у берега коряги сразу напомнили Олегу сведённые судорогой руки. Он смотрел в этот летящий мимо блеск, насквозь пронзавший прибрежные камышовые заросли, когда темноту памяти прорезало сверкание почти бесконечно далёкого апрельского дня, о котором он не вспоминал лет двадцать. Тот день слепил не только весенним солнцем, но и отражавшими его сотнями новых стёкол, стоявших у стены на стройке, куда они проникли вместе с Тимуром и ещё парой приятелей. Тимур не был заводилой, но дыру в заборе, такую узкую, что сам еле протиснулся, нашёл именно он. Поначалу ими двигало лишь желание исследовать неизвестную территорию: участок стройки, огороженный забором, был огромен, в выходные там не было ни души. Но когда они увидели стёкла, а рядом с ними груды кирпичей, одна и та же мысль возникла у каждого. И всё же, если б не Тимур, они никогда не решились бы её осуществить и даже высказать иначе, чем в шутку. Все они были послушными мальчиками из приличных семей, один Касымов, ни секунды не размышляя о последствиях, способен был сделать то, что напрашивалось из соседства стекла и кирпича. И позже, спустя годы, он с лёгкостью воплощал то, что носилось в воздухе, о чём другие лишь говорили или даже только думали. Первый брошенный им камень породил такое великолепие блеска, звона

и треска, что не последовать его примеру было невозможно. Совершенно осатанев на этом празднике разрушения, они соревновались, кто больше разобьёт с одного броска. Они размахивали руками, прыгали и орали, чтобы перекрыть хруст и дребезг стекла. Погром прекратился лишь с появлением сторожа, когда пришлось уносить ноги. Касымов, несмотря на полноту, первым пробкой вылетел в дыру в заборе, Олег успел за ним, но последний из компании был пойман и, допрошенный с пристрастием, выдал остальных. Родители Тимура, конечно, легко отстояли сына, его мать, высокая худая женщина с большими глазами и резкими движениями, сама ходила по инстанциям, а вот Печигина тогда едва не выгнали из школы.

Мать Касымова, всякий раз возникавшую рядом с сыном, если тот попадал в очередную передрагу, Олег помнил хорошо. Когда он приходил к Тимуру в гости, она обычно появлялась из дальних комнат большой квартиры в колеблющем полумрак коридора развевающимся шёлковым халате, внося с собой облако сложных приторных запахов. Тонкая рука в браслетах и кольцах указывала Олегу на вешалку, другая приглашала на кухню, где на столе возникали друг за другом чашки, блюда и вазочки с вареньями, орешками, рассыпчатой халвой, туманным лукумом. Олегу она напоминала одновременно сказочную Шахразаду и торговку зеленью с ближнего рынка. Сходство с последней возникало из её всегдашней готовности ринуться в бой за сына, на Шахразаду же она походила всем остальным, в частности, настойчивостью, с которой расспрашивала Олега – словно собирала материал для своих ночных историй. Несколько раз в её отсутствие Олег был тайно допущен Тимуром в её комнату. Там поблёскивал висевший за дверью стеклярус, журчал небольшой фонтанчик, на полках стояли различной формы кувшины, свечи и блюда, множество фарфоровых статуэток, даже целый фарфоровый слон нёс на спине вазу с фруктами, но самым поразительным была громадная, едва не полкомнаты занимавшая кровать под настоящим, ниспадающим с потолка балдахином. Всё, что потом Олег слышал от Тимура о Коштырбастане, так или иначе соотносилось для него с этой комнатой, постепенно разрастающейся в воображении до целой республики, полной плещущих в тени фонтанов, прохладных фруктов и таинственных женщин, скрытых в полумраке спален за колышущейся кисеей занавесок. Когда, после распада Союза, оттуда стали приходиться известия, никак не вписывавшиеся в этот образ, Коштырбастан был уже слишком далеко, чтобы придавать происходившему там значение, здесь хватало своих проблем, и никакие мрачные рассказы о гражданской войне, голоде и холоде не смогли до конца стереть из памяти Олега эту комнату. Принимая предложение Тимура заняться переводом стихов президента Гулимова, пожить, сколько ему захочется, в Коштырбастане и самому убедиться, что там не так страшно, как утверждает враждебная пропаганда, Олег надеялся в глубине души наткнуться где-нибудь в не тронутой войной и разрухой переулке на похожую уцелевшую комнату, где по-прежнему, как двадцать с лишним лет назад в его детстве, журчит фонтан и колышется, поджидая его, кисейная занавеска балдахина.

Соляное озеро осталось позади и, помаячив на горизонте, исчезло из вида.

– Я вас вообще-то хотел кое о чём попросить, – сказал Алишер. – Для вас пустяк, а для меня важно. Ночью будем проезжать границу. Не могли бы вы положить мою книгу к себе? У вас, как иностранца, она будет в безопасности. Вас, скорее всего, даже обыскивать не станут, а со своими они не церемонятся.

– А что за книга? Запрещённая?

– Официально запрещённых книг у нас нет. Обычное богословское исследование, ничего особенного. Трактат о свойствах джиннов. Но повышенный интерес к религиозным вопросам у нас сразу вызывает подозрение в экстремизме. Книгу могут запросто отнять, а меня внесут в чёрные списки.



Тут было что-то не так: джинны в представлении Печигина были персонажами читанных в детстве сказок, и их связь с политикой, возможность за книгу о них оказаться в чёрном списке казалась неправдоподобной.

– Вас так интересуют джинны, что вы даже готовы рисковать попаданием в списки? – спросил Олег, ища повод для отказа.

– Верящий во Всевышнего не может не интересоваться его врагом и подчинённым ему воинством.

Стоявший спиной к окну Алишер повернулся лицом к Олегу, придавая этим значимости своим словам.

– Кстати, автор, профессор, между прочим, Иллинойского университета, утверждает, что джинны, хотя и обладают природой огня, могут вселяться в людей, почти не меняя их облика. Я бы на вашем месте присмотрелся к вашему другу Касымову. В его случае это бы многое объяснило.

– Шутите?

Ещё прежде чем Алишер ответил, Печигин понял напрасность вопроса. Его собеседник меньше всего был склонен к юмору. Пунцовое вечернее солнце било ему в глаза, но он не морщился, глядя на Олега в упор неподвижным взглядом расширенных на свету зрачков. Его тяжёлое лицо в бисерном блеске пота выглядело вдвойне застывшим оттого, что мимо него за окном поезда текли и текли пески.

– И не думал.

Если в начале разговора Алишер представлялся Олегу обычным диссидентом, вроде тех, чьи статьи о Коштырбастане ему попадались, то теперь он казался скорее человеком с мировосприятием, более близким героям сказок Шахразады, чем нашему времени, – таким же непостижимым, раскалённым, порождающим миражи и теряющимся в бесконечности, как пустыня за окном.

Так и не придумав повода для отказа, Олег взял книгу, пролистал в надежде найти хоть одно понятное слово, взглянул на портрет автора на обложке – типичного средневекового шейха на вид, разве что без чалмы, – и, пряча её на дно сумки, спросил себя: что, если это никакой не трактат о джиннах, а, скажем, руководство по ведению партизанской войны? Что будет, если книгу у него найдут? Поможет ли ему заступничество Касымова? Сказка, в которую он погружался, начинала обнаруживать тревожные повороты. В ней было второе, далеко не сказочное дно, обещавшее к тому же быть не последним.

Вечером он достал тетрадь, где делал путевые заметки, и записал: «Я, в сущности, не знаю, куда еду, и слабо представляю, что меня там ждёт. Не знаю, кому верить, Тимуру или Алишеру и авторам статей (среди статей, впрочем, попадались и такие, где описывалось благоденствие Коштырбастана под мудрым руководством Рахматкула Гулимова, приводились цифры и публиковались фотографии, демонстрировавшие преуспевание и экономический рост). Не решу, пока не увижу своими глазами. По большому счёту, не знаю, и зачем еду: работать над переводами я мог и в Москве. Еду, чтобы ехать, – лучше эти нечеловеческие пески, чем стена дома напротив, где я уже ненавидел каждый кирпич, лучше это тесное купе, чем комната, где любое движение совершается в тысячный раз и невозможно избавиться от наваждения нескончаемых повторений. Я согласен терпеть эту духоту за ощущение (пусть самообман), что мне удалось оторваться от прошлого, оставить его в той опостылевшей комнате, и я могу не повторять больше самого себя, стать кем угодно и каким угодно. Говорил же Тимур, что Коштырбастан – страна, где нет невозможного».

Закрыв тетрадь, посмотрел в окно. Проезжали что-то вроде оазиса, пять или шесть чёрных овец щипали сухую траву вдоль железнодорожного полотна. Одна из них подняла голову и, вытянув шею, упорно глядела на поезд, точно ждала, что он остановится, чтобы взять её с

собой, избавив от неизбежной овечьей судьбы. Остальные никакого интереса к громыхавшим мимо вагонам не проявляли.

Поезд встал среди ночи, несколько раз глухо лязгнув и издав протяжный металлический стон, прокатившийся по всем вагонам, отзываясь в чугунных сцеплениях и входя чужеродной тоской в сны пассажиров. Будя их стуком в двери, по коридорам вагонов заспешили проводники: граница. В остановившемся поезде духота тоже застыла, сделалась монолитной, неколебимой. Несмотря на стук проводника, старик на нижней полке продолжал захлёбываться храпом, казалось, вот-вот задохнётся. Печигин вышел в коридор, освещённый слабым ночным светом, встал у окна. Мимо него, едва не вдавив в стену, прошёл в туалет громадный коштыр из соседнего купе в трусах и майке, подёргал ручку двери – заперто, – побрёл назад, сонно шевеля на ходу губами, как огромная глубоководная рыбина, заслоняя своей большой головой лампы в потолке, так что чем он был ближе, тем становилось темней в коридоре. Постоял рядом с Олегом, шумно вздохнул всем телом, словно попытавшимся всплыть кверху, но вновь устало осевшим, ничего не сказал, ушёл в купе. Скоро и Печигина проводник попросил вернуться к себе, потому что по вагонам, непонятно переговариваясь между собой, пошли пограничники. Его спутники уже встали, Алишер кивнул ему, женщина с перемычкой между бровей сидела с закрытыми глазами, досматривая оборванные сны.

Приготовив документы, Олег стал смотреть в окно на кусок перрона, освещённый таким тусклым жёлтым фонарём, точно его свет не мог пробиться сквозь плотный от духоты воздух. Под ним, переваливаясь, проковыляла тётка с двумя чемоданами, остановился перекурить, облокотившись на свою тележку, носильщик, на каменную скамью села женщина, похоже, молодая – фонарь освещал только ноги в короткой юбке, открывавшей колени. В темноте, где должно было быть лицо, зажёгся красный огонёк – женщина закурила. К её коленям подошла бессонная чёрная собака, хотела ткнуться в них носом, но женщина отогнала её, затем выбросила окурки, и собака побрела за ним, качая хвостом. Эта случайная ночная жизнь была похожа на кино без начала и конца, смысл которого никогда не откроется проезжему зрителю, да и сами персонажи не знали, ради чего они оказались в этом общем эпизоде под тёмным фонарём и что им нужно делать. Печигину захотелось сойти с поезда и войти в эту сцену, словно ждущую его, оставлявшую для него свободное место. Всегдашнее желание сбежать из своей жизни в чужую. Притяжение ничейной земли, где происходящее как будто освобождается от причинности...

Вслед за пограничниками появились таможенники, но рыться в вещах не стали, обошлись беглым осмотром. Потом поезд тронулся, проехав немного, снова встал, медленно двинулся дальше, заунывно скрипя, и остановился опять. Олег перестал искать смысл в этих толчках, судорожных рывках и остановках, так же как не пытался больше расслышать знакомые слова в перекликавшихся голосах, то и дело раздававшихся в коридоре. Когда входили люди в форме, он протягивал им паспорт, они изучали его, посматривая на Олега из-под козырьков, чтобы сличить с фотографией, переговаривались между собой и с другими обитателями купе. «Почти все они знают русский, – предупреждал его Алишер, – но с тех пор, как Коштырбастан стал независимым, принципиально на службе говорят только по-коштырски». Облако неизвестной речи окутывало Олега, парализуя усилия понять происходящее. Алишер долго о чём-то беседовал с человеком в погонах (таможенником? пограничником? ещё каким-то чиновником?), затем вышел за ним следом, вернулся за вещами, ушёл опять. Пересекли они уже границу или нет? Будет ещё проверка документов или эта последняя? Кругом было слишком много непонятного, оставалось только откинуться на подушку, закрыть глаза и ждать, пока всё это уплывёт прочь, как уплыл перрон под тусклым фонарём с носильщиком, женщиной и бессонной чёрной собакой.

Наутро за окном текли точно такие же пески, как накануне, и, если б не пустая полка Алишера, можно было подумать, что весь изнурительный ночной переезд через границу Печигину просто приснился.

На столичной платформе растерянно озиравшегося Олега встретил водитель Касымова, широкоплечий молодой парень в тубетейке. Неуверенно произнося русские слова, представился, забрал из рук Печигина сумку и повёл сквозь запутанные дебри вокзала на улицу. Тимур поджидал на заднем сиденье чёрного и блестящего, как гигантский начищенный полуботинок, «вольво». На коленях у него был раскрытый ноутбук – поезд опоздал на сорок минут, и он почти успел за это время закончить новую статью. Широко, насколько позволял просторный салон, распахнул объятия, привлёк к себе, дважды звучно расцеловал, в одну и в другую щёку. Олег рад был видеть друга, но поневоле отстранился – никак не мог привыкнуть к усвоенной Тимуром за годы жизни в Коштырбастане манере приветствия. Когда-то, в студенческое время, он и руку подавал неохотно и не каждому. Видно, жизнь на Востоке меняет человека: то ли делает более простым и открытым, то ли вынуждает изображать простоту и открытость. Пока Олег размышлял об этом, Касымов вернулся к ноутбуку:

– Извини, пара абзацев осталась. А то забуду. Ты не обращай внимания, рассказывай, как доехал, я тебя слушаю. Ты же знаешь, правильно организованному человеку ничего не стоит одновременно писать и разговаривать.

Он принялся расспрашивать Олега, не переставая при этом быстро печатать, так что Печигину представилось, будто всё, что он говорил о духоте в купе, старике с его напитком из кефира со спиртом и женщине с перемычкой между бровей (об Алишере он решил умолчать), немедленно вносится в статью. Погрузневший Касымов теперь сильнее походил на того, каким он был в детстве, чем в более поздние, студенческие и последующие годы, до своего окончательного отъезда в Коштырбастан. Его крупная круглая голова была обрита наголо, под затылком образовалась толстая жировая складка – в ней, подумалось Печигину, откладывается излишек познаний, не уместившийся в черепе. Способность общаться, не отрываясь от ноутбука, сразу же напомнила Олегу, как, увлёкшись шахматами, Тимур повсюду, на уроках, переменках и после школы, таскал с собой миниатюрную пластмассовую доску со вставленными в дырочки фигурками и, чем бы ни занимался, продолжал продумывать партии, которые разыгрывал сам с собой. Даже гоня мяч во дворе за школой, он мог воспользоваться паузой в игре, чтобы достать из ранца доску и сделать несколько осенивших его ходов. Доска была такой маленькой, а фигурки таким крошечными, что со стороны было непонятно, как ему удавалось выковыривать их своими пухлыми пальцами. Игроком он был довольно сильным, ему даже прочили успех в профессиональных шахматах, но к концу школы он полностью потерял к ним интерес – как отрезало.

Машина с плотно закрытыми окнами – внутри работал кондиционер – петляла по нешироким улицам старого центра города, и Печигин всматривался в подступившую совсем близко жизнь Коштырбастана. Он видел мужчин в строгих костюмах или белых рубашках с галстуками и тубетейках, женщин в длинных платьях из ярких тканей, красных, синих, малиновых, зелёных, вспыхивавших при переходе из тени на свет так, что на них больно было смотреть. По обеим сторонам машины то и дело мелькали дощатые заборыстроек и знаки объезда, башенные краны поднимали вверх грузы, придавая городскому движению, помимо горизонтального, вертикальное измерение. Стенобитные снаряды крушили старые двух-трёхэтажные дома, в нескольких местах ремонтировали проезжую часть, и отбойные молотки вгрызались в землю, сотрясая крупной дрожью дочерна загорелые тела налегавших на них полуголых рабочих, самосвалы обрушивали горы свежего дымящегося асфальта, а дорожные катки ровняли его, но весь этот ад был бесшумен, потому что ни один звук не проникал через толстые стёкла «вольво», плывущего батискафом сквозь сети густых теней от высоких старых чинар. Порт-

ретов Народного Вожатого было не так много, как ожидал увидеть Олег, помня статьи, где утверждалось, что президент Гулимов обступает вновь прибывшего толпой из одного человека, повторённого несчётное количество раз, и всё же на каждой улице им рано или поздно попадалось его лицо, скорее европейское по форме, но с отчётливо азиатским разрезом глаз. Народный Вожатый со школьниками, со спортсменами, с молодыми учёными, вручающий ключи новосёлам от ещё не достроенного дома и перерезающий ленту на открытии нового завода – на каждом плакате его значительное, излучающее уверенность лицо, выделявшееся в любом окружении, служило гарантией того, что всё идёт, как должно: спортсмены непременно победят, учёные совершат свои открытия, дом будет достроен, завод перевыполнит план, а школьники – курчавые чертёнята, из последних сил сдерживающиеся перед камерой, чтобы не прыснуть со смеху, – вырастут честными гражданами и патриотами. Владельцы магазинов и заведений вывешивали постеры с изображением президента, похоже, в расчёте подтвердить его авторитетом качество своей продукции: взирая с витрины обувного поверх сапог и ботинок, он словно обещал, что этой обуви не будет сносу, а встречая посетителей на дверях ресторана, свидетельствовал, что всё там самое свежее и по высшему разряду. Скоро Печигин привык к этому лицу как к постоянной детали городского пейзажа, не позволявшей тем не менее не обращать на себя внимания: когда они проезжали газетный киоск, сплошь увешанный плакатами эстрадных исполнителей, Олег почувствовал присутствие между ними Народного Вожатого прежде, чем смог разглядеть его. Продавца за прилавком видно не было, но наружу свисали две голые волосатые ноги в сандалиях. Вероятно, читатели прессы не часто его беспокоили, и он решил устроить себе сиесту.

– Ну что, про соляные озёра, куда сбрасывают расстрелянных, он тебе рассказывал? – не отрываясь от ноутбука, внезапно спросил Касымов.

Ему уже сообщили про Алишера? Неудивительно, подумал Олег. К Тимуру, как главному комментатору, эксперту, аналитику и тому подобное, первому должны поступать известия обо всём, происходящем в стране. Напрасно, напрасно он умолчал о попутчике.

– А про вымершие зимой кишлаки в горах? Про сотни и тысячи замёрзших насмерть?

Приходилось признавать, что об этом и шла речь в поезде.

– Вот видишь! – Тимур усмехнулся своей прежней, хорошо знакомой Печигину извилистой ухмылкой, увязавшей теперь в рыхлом тесте лица, делаясь от этого расплывчатой и как будто безнадёжной, – улыбкой человека, который устал всегда и во всём быть правым.

– Я ни разу его не видел и не слышал – и всё равно знаю всё, что он тебе пел, от слова до слова. Потому что все они перепевают один и тот же набор сплетен! Спроси у любого химика, он тебе скажет, что вода в соляных озёрах ничего не растворяет и, если бы туда бросали человеческие тела, они так и оставались бы там плавать, как солёные огурцы в банке! Да что химик – всякий школьник тебе это подтвердит! И всё равно они повторяют эту нелепицу, хотя и сами в неё давно не верят! Что до замёрзших зимой, то у меня есть статистика, заверенная комиссаром ООН, – их было двенадцать человек. Но таким, как твой попутчик, мало двенадцати, им подавай сотни, тысячи трупов! Это то, чего они хотят, – чтобы мертвецов было как можно больше! А они обвинили бы во всём правительство и захватили власть.

– «Они» – это кто?

– Исламисты, фундаменталистское подполье. Слепые, узколобые фанатики, коварные и безжалостные. Они пробираются на все этажи власти, сочувствующие им есть повсюду, любой верноподданный служащий может быть в душе тайным исламистом. Здесь только на поверхности тишь да гладь, в глубине же, ни на секунду не прекращаясь, идёт борьба. Если бы не Народный Вожатый, которого обожает народ и, главное, армия, они бы уже решились на открытый удар. Только на нём, на его харизме и авторитете здесь держится мир. Мы, по сути, находимся тут на передовой скрытой войны – а ты когда-нибудь слышал, чтобы на передовой была демократия? Многопартийность? Разделение властей? Чего там ещё не хватает нашим запад-

ным критикам? Да любая демократия через неделю обернётся здесь резнёй! В Коштырбастане пять основных больших племён и около двадцати мелких, и между всеми старые счёты, обиды, претензии. Стоит центральной власти хоть немного дрогнуть, и все они вцепятся друг другу в глотку! А исламистам только этого и надо! Они хотели бы, чтобы вновь началась гражданская война и волна пролитой крови подняла бы их до вершины власти!

– Что с ним сделают?

– С твоим попутчиком? Ничего. Он мелкая сошка, такие могут быть опасны лишь как инструмент в других, более сильных руках. Поговорят и отпустят. Просто чтобы знал, что о нём помнят и если он вздумает совершить какие-нибудь резкие движения, то это не пройдёт незамеченным. Народному Вожатому приходится помнить обо всех, – Тимур показал за окно машины вверх, в направлении неба.

Печигин посмотрел туда и увидел возносящуюся на высоту многоэтажного дома мраморную стену, а на ней гигантский сапог. Лишь когда машина отъехала, он смог разглядеть в заднее стекло весь огромный памятник, высившийся над площадью и всем центром города. Народный Вожатый в простой военной форме поднимал над головой голубя, расправляющего крылья, – очевидно, знак мира, – подавшись при этом вперёд, словно подталкивая голубя к полёту, развернув широкие плечи и выкатив колесом грудь, как вытягиваются после выступления гимнасты.

– Между прочим, на две головы выше статуи Свободы, – заметил Касымов. – И смотровая площадка есть. Но ему самому памятник не понравился. Даже на открытие не пришёл.

– Похоже, он человек не без вкуса. Это и по стихам видно.

– Дело не во вкусе, он вообще против всего этого – памятников, плакатов, славословий в его адрес. Но с этим ничего не поделаешь, волна поднимается снизу, и её не остановить. Он, например, отменил официальное празднование своего дня рождения, но люди всё равно каждый год его отмечают. Можно запретить официальные и чрезмерные проявления любви, но саму любовь не запретишь.

– За что ж они его так любят? Подозреваю, что не за стихи. Мои попутчики в поезде их явно не читали.

– Конечно, стихи не главное, хотя многие у нас знают их наизусть, по всей стране проходят конкурсы чтецов-декламаторов, а некоторые положены на музыку и их поёт весь народ – это ты ещё, я думаю, увидишь. Но главное другое: в Народном Вожатом воплощён большой смысл жизни каждого отдельного человека, выходящий за рамки семьи и дома в историю и вечность. Он – их представитель на том уровне, где решаются судьбы страны и мира, он – совокупный коштыр, олицетворение своего народа, достигшее планетарного масштаба. Каждый житель Коштырбастана, от школьника до старика, видит в нём продолжение себя, и каждый готов отказаться от себя, чтобы быть похожим на него. Он – единая и единственная цельная личность, вобравшая в себя черты всех и переплавившая их в образ великого Ходжата, вождя нации!

Пока Касымов вещал, Олег внимательно всматривался в него. За все годы, что они знали друг друга в Москве, Тимур никогда и ничего не говорил до конца всерьёз. О чём бы ни шла речь, в его словах непременно пряталась ирония, проявлявшая себя в оттенке интонации, изгибе ухмылки, взгляде искоса, небрежном жесте и ещё десятками способов, позволявших посвящённым увидеть скрытого в говорящем второго Тимура, смеющегося исподтишка над теми, кто принимал слишком серьёзно первого. Но теперь, сколько Печигин ни вглядывался, поймать хвост ускользнувшей иронии не удавалось. Рядом с ним, подрагивая и колыхаясь на неровностях асфальта, сидели примерно сто килограммов серьёзности и уверенности, всей своей массой демонстрируя ответственность за каждое сказанное слово.

Миновав площадь, машина въехала в узкую улицу, и, заслонённый домами, памятник скоро исчез из вида. Лишь иногда в просветах между стенами возникала над крышами и мина-



ретами вознесённая к небу рука с голубем. Убрав с колен ноутбук, Тимур неожиданно засуетился, озираясь в салоне, как будто что-то вспомнил.

– Где мой портфель?

Водитель протянул ему портфель с переднего сиденья.

– Чуть не забыл! У меня тебе подарок!

Порывшись в портфеле, Тимур протянул Олегу небольшую книгу в твёрдом переплёте на коштырском языке. Тот с удивлением изучил серебристо-серую обложку с непостижимым названием, пролистал – внутри были, похоже, стихи, но опять же только по-коштырски.

– Ты на оборот, на оборот смотри!

Олег перевернул книгу и увидел на задней странице обложки самого себя – старую фотографию студенческих лет.

– Это что, мои?

– А ты думал! Та самая книга, что ты мне подарил, «Корни снов». У нас переводчики, в отличие от тебя, работают быстро!

Единственную книгу стихов Печигин издал несколько лет назад за свой счёт тиражом сто двадцать экземпляров – на большее денег не хватило. Половину тут же радостно раздарил всем, кто подвернулся под руку, остальные развёз по книжным магазинам и потом долго натёкался на них по пыльным углам самых нижних полок, где покупателю, чтобы отыскать его книгу, пришлось бы ползать на четвереньках.

– Ты на тираж взгляни.

Среди непонятных коштырских слов, набранных мелким шрифтом, Олег разглядел цифру: 150 000. Не веря, посмотрел на Касымова.

– Да, да, можешь не сомневаться. Уже во всех магазинах продаётся, не только в столице, но и по стране. В издательстве мне сказали, что собираются допечатку тиража делать. Хорошо расходуется.

– Но ведь... – Печигин запнулся, подозревая обман, розыгрыш всё что угодно – такого не может быть! Это же невозможно!

– Сколько раз я тебе говорил, что в Коштырбастане всё может быть! – Касымов явно наслаждался замешательством Олега. – Пойми наконец, несурзанный ты человек, слово «невозможно» тут не имеет смысла!

Остаток пути до дома, где должен был остановиться, Печигин перелистывал подарок в надежде отыскать хоть одно знакомое слово, чувствуя себя так, точно столкнулся сам с собой лоб в лоб и не может себя узнать.

Отведённый Печигину дом был правительственным, прежде в нём жил с семьёй старший референт министра путей сообщения Коштырбастана, месяц назад переведённый на дипломатическую службу и отправленный советником посла в Бельгию. Касымов сообщил об этом, похозяйски распахивая одну за другой двери пустого двухэтажного здания со внутренним двором, вокруг которого располагались по периметру кухня, душевая, гараж, дом для гостей, дом прислуги и ещё несколько помещений неопределённого назначения. Всё это жилое пространство, где могли свободно уместиться человек тридцать, поступало в пользование Печигина. Показав и рассказав всё необходимое, Касымов обошёл комнаты, полные застоявшегося пыльного солнца, и вручил Олегу связку ключей.

– Ну, по маленькой за твой приезд, и оставляю тебя отдыхать с дороги.

Он плюхнулся в кресло, а неотступно следовавший за ним водитель без приказа пошёл за оставшимся в машине коньяком.

– Как продвигается перевод?

– Туго, – признался Печигин. – Ни один поэт мне ещё так тяжело не давался. Даже Целан у меня легче шёл, даже самые тёмные стихи Уоллеса Стивенса... Понимаешь, чтобы перево-

дить, мне нужно представлять себе автора, как бы почувствовать его изнутри. А я не вижу поэта у власти, возглавляющего страну, поэта и политика одновременно. Для меня это противоположные сферы, мне не хватает воображения совместить их.

– Представь себе Гёте или Навои, бывшего эмиром Герата. А ближе к нашему времени – Мао Цзэдуна и Хомейни, Сталина и Рашидова, Андропова или Ниязова. Почему обычный человек, чем бы он ни зарабатывал себе на жизнь, может писать стихи, а большой политик не может? У нас в Азии поэт на троне – вообще обычное дело. Поэтами были Бабур и внук Тамерлана Улугбек, Байсонкур, Байрамхан, Малик-шах и уйма других.

– Да, да, читал, знаю... Но я не понимаю человека, облечённого высшей властью, сама по себе власть для меня чёрная дыра какая-то... Чтобы решить, переводя стихотворение, какой из двух-трёх синонимов выбрать, я должен угадать, какой выбрал бы он... А может, устал я просто...

– Нет, это всё иначе происходит. Совершенно иначе! – Тимур подался вперёд, так что рубашка натянулась на животе, грозя сорвать пуговицы, одним махом опрокинул разлитый водителем по рюмкам коньяк. – Народный Вожатый не выбирает – он берёт! Берёт первые попавшиеся в минуту вдохновения слова, и все сразу видят, что это и есть самые лучшие, то есть что они лучше, чем лучшие, – даже если они хуже. Он не перемарывает черновиков, не перебирает вариантов, никогда ничего не зачёркивает – я же говорил, что он не ошибается в поэзии точно так же, как и в политике. Его стихи рождаются сразу и набело. Он нарушает все правила, для него их просто не существует, а потом авторы словарей и грамматик выводят из его нарушений новые правила. И в итоге всё равно выходит, что сильнее и точнее, чем он, сказать невозможно!

– Я в нём как-то теряюсь. Не вижу его границ.

– А у него и нет тех границ, какие свойственны обычным людям. Ни границ, ни ограничений, ни запретов. Я же тебя предупреждал, он человек другого уровня, совсем иных масштабов! Ну ладно, тебе ещё многое предстоит понять, за этим ведь ты сюда и приехал. А сейчас мне пора, моё время на вес золота.

Тимур поднялся, не без усилия оторвавшись от кресла, поправил смявшиеся брюки, посмотрел сбоку в зеркало у двери.

– Располнел я тут немного, ты не находишь?

Печигин усмехнулся про себя этому «немного»: Тимур всегда был чрезвычайно озабочен своей внешностью. Олег думал, что, достигнув в Коштырбастане вершин, он от этой озабоченности избавился, отчего и разъехался, но, очевидно, это было не так.

– Худеть надо, спортом заниматься. Но где ж тут всё успеть... – Тимур вздохнул и направился к выходу.

– Ты говорил, что можешь устроить мне встречу с вашим президентом. Это бы мне многое дало.

Касымов остановился, потом велел водителю идти к машине и ждать там.

– Раз говорил, значит, устрою. Только не так это просто... Он ведь после болезни перестал общаться с кем бы то ни было, кроме узкого круга приближённых, куда я, увы, не вхож. Но есть одна особенная возможность. Он давно уже не даёт интервью журналистам, избегает встреч на высшем уровне и редко появляется в совете министров, но все у нас знают, что иногда он выходит переодетым в город и разговаривает с народом. Ходит по рынкам, чайханам и чебуречным, расспрашивает простых людей. Некоторые узнавали его и просили о чём-нибудь, и их просьбы всегда исполнялись. Многие, конечно, уверены, что это легенда, типичная сказка, но я-то знаю, что это не так. Народный Вожатый вообще человек-легенда, и для него совершенно естественно поступать, как Гарун-аль-Рашид или царь Ануширван у Шахразады. Но мне известно, что эти его выходы в город – чистая правда, из достоверного источника. Дворянский брат моей жены входит в личную охрану президента и много раз сопровождал его в этих прогулках. Ты же понимаешь, замаскированная охрана не отстаёт от него ни на шаг.

Район, куда он отправится, обговаривается накануне и, конечно, прочёсывается на предмет подозрительных лиц вдоль и поперёк. В нашей ситуации иначе нельзя. У меня с этим человеком, с братом жены, вполне доверительные отношения, и, если я попрошу, он назовёт мне время и место очередной прогулки. Ты подойдёшь в кафе или на рынке как случайный прохожий, заинтересовавшийся беседой. Единственная проблема в том, что я всё узнаю только накануне и ничего не могу сказать заранее... Так что придётся подождать.

– В таких хоромах отчего не подождать.

– Заняться тебе есть чем. Кстати, я не говорил, что скоро у тебя интервью на телевидении? Ты же у нас человек известный. Так что готовься отвечать перед камерами на вопросы о своём творчестве.

Печигин уже не удивился. Попрощался с Тимуром до завтра и, когда за ним захлопнулась дверь, побрёл в душевую сквозь гулкое солнце больших комнат вслед за своей тенью на белой стене. Запас изумления и недоверия к происходящему был у него на сегодняшний день исчерпан. В душе повернул кран и услышал свистящий хрип пустоты, рвущейся наружу из ржавых труб: воды не было. Поскорее закрыл. Вернулся обратно, упал головой в горячую подушку, уснул.

Когда проснулся, воду уже дали. Печигин вымылся, стирая с затёкшего во сне тела последнюю память о душном морозе дороги, прошёлся по дому, ступая по коврам босыми мокрыми ногами, снова перелистал, развалясь на диване, свой сборник на коштырском. Не найдя в стихах ни одной приметы, по которой мог бы признать в них свои, отбросил книгу в угол дивана – в этих просторных комнатах хотелось совершать небрежные и широкие движения. За окном по-прежнему было солнце, но уже не такое яростное, его свет стал легче, меньше давил на землю, время близилось к восьми. Несколько минут Печигин наблюдал за единственной, кроме него, обитательницей дома – мухой, рисующей извилистые контуры тишины, потом встал, оделся и вышел на улицу.

Между высоких глиняных заборов, скрывавших частные дома, улица вывела его на широкий бульвар с газонами, клумбами и тузовыми деревьями. Навстречу ему поодиночке, парами и компаниями шли коштыры. Он вглядывался в их лица, иногда по-восточному тонкие, чаще широкие, буро-коричневые, словно на скорую руку вырубленные из камня, с узкими трещинами глаз, и думал: «Вот они – мои читатели». Причём не единицы, а десятки, сотни и даже тысячи, если верить немыслимой цифре тиража, должны были прочесть его книгу, то есть знать его подноготную, его сны и скрытые страхи, быть знакомыми с ним на том пределе глубины, которого он стремился достичь в стихах. Возможно, нет, даже наверняка некоторые из встречаемых должны сейчас узнавать его по фотографии на обложке. Печигину показалось, что он поймал на себе несколько взглядов, ускользавших, едва он встречался с ними. И чем прозрачнее ощущал он себя для этих взглядов, тем непроницаемее выглядели встречаемые. Мужчины проходили не спеша, жадно откусывали на ходу тающее мороженое, остужавшее их внутренний жар, прорывавшийся наружу в кирпичном румянце и в том, как хищно озирались они вокруг из-под густых бровей. Многие сидели в тени на корточках, свесив руки с колен почти до земли, о чём-то думали или ждали. О чём может думать коштыр? Чего ему ждать? У Олега не было и намёка на ответ. Любые его догадки рассыпались при столкновении с этими обветренными, часто похожими на детские лицами с мелкими, словно случайными чертами. Что может сказать, прочитав его стихи, этот, например, мужчина под пятьдесят, усевшийся на скамью с ногами, оставив сандалии внизу, сосредоточенно разминающий голые коричневые пальцы? Или другой, на соседней скамейке, приподнявший тюбетейку, подставив едва заметному ветру вспотевшую лысину? У подножия лестницы, ведущей от бульвара к мечети, стоял продавец с лотком, уставленным пузырьками и баночками, от которых доносился приторный запах. Группа вышедших из мечети коренастых коштыров в пиджаках и отутюженных брю-

ках остановилась у лотка и принялась изучать пузырьки с духами, передавая их друг другу, поднося к носам, деловито обсуждая. Может быть, его читатели среди них? Говорил же ему Тимур, что в Коштырбастане совершенно иное отношение к поэзии, чем в европейских странах: к могилам классических поэтов совершают паломничества, как к мазарам святых, их просят о заступничестве, люди верят, что чтение стихов у могилы поэта и даже просто прикосновение к ней могут улучшить судьбу. Правда, муллы этого не одобряют, но традиция эта столь давняя и укоренившаяся, что запретить её они не могут.

Увидев объявление об обмене валюты, Олег протянул в окошко ларька сотню долларов и получил за них такие толстые пачки местных денег, что на пересчёт потребовалось бы не меньше часа. Распихивая их по карманам, он чувствовал себя обладателем внезапно и явно по ошибке свалившихся на него сокровищ, которые лучше всего поскорее потратить, пока не отобрали. Но тратить деньги на бульваре, кроме мороженого и пива, было особенно не на что. Вдоль бульвара сидели продавцы всякой мелочи: сигарет поштучно, шариков курта, семечек, козинаков, сникерсов. Многие из них были пожилыми, некоторые дремали, но встречались и подростки, и молодые мужчины и женщины. Казалось, они пробавлялись этой жалкой торговлей не ради копеечной прибыли, на которую всё равно не прожить, а просто чтобы быть при деле, оправдывая своё существование. Да и большинство прохожих выглядели не столько гуляющими, сколько ищущими, чем бы заняться, их демонстративная вальяжность скрывала, думал Печигин, напряжённую озабоченность, несколько раз замеченную им во встречаемых лицах. Ему вспомнились читанные в Москве статьи о повальной безработице в Коштырбастане. Но какую работу можно искать вечером на городском бульваре? К тому же высившиеся со всех сторон над крышами старого города гигантские каркасы новостроек, похоже, опровергали те непримиримо критические публикации. Не приписывает ли он коштырам озабоченность, от которой сам никогда не мог до конца освободиться, чтобы сделать их хоть немного понятней? Чтобы постигнуть то, что всегда лежало за пределами его понимания, – совершенно бесцельное существование, никуда не направленное движение?

Проходя мимо газетного киоска, Олег заметил среди газет на прилавке несколько книг и среди них знакомую серебристо-серую обложку. Его сборник продаётся даже в киосках! Ничего удивительного при таком тираже. Он не удержался и попросил свою книгу у плечистого продавца без шеи. Тот понял не сразу, пришлось показывать пальцем. Листая страницы, Олег глядел не на стихи, в которых не надеялся больше найти ничего знакомого, а поверх них на киоскёра, ожидая увидеть в его тяжёлом лице признаки узнавания – ведь ему видна обложка с фотографией. Но то ли киоскёр не отличался наблюдательностью, то ли снимок был слишком старым – очевидно, его дал издательству Касымов, новее у него не нашлось, – но узнавания не происходило. Продавец не спускал с Печигина тёмных навывкате глаз, похоже, опасаясь, как бы Олег не сбежал с книгой, не заплатив. Он методично лужгал семечки, к оттопыренной нижней губе пристала шелуха, он попытался сдуть её, потом скovyрнул пальцем.

Обескураженный Печигин протянул продавцу деньги, сунул книгу в сумку (будет что подарить при случае), но, как только отошёл от киоска, разочарование прошло: неузнанность возвращала его в привычное положение наблюдателя, не привлекающего внимания. Это его устраивало. Где-то бродили по Коштырбастану тысячи его бумажных двойников в серебристо-серой обложке, но ни он сам, ни коштыры не узнавали его в них. Что ж, тем лучше. Значит, он свободен от своей старой книги и от намертво связанных с ней чувств вины и неудачи, как и от всего оставленного в Москве прошлого, – свободен и открыт для того нового, что ждёт его здесь.

Неподалёку от киоска было кафе со столиками на улице, Олег сел за один из них выпить пива, а заодно поглядеть, не купит ли кто его сборник. На бульваре быстро смеркалось, лучи солнца ложились уже только на верхние ветви чинар. Пива пришлось ждать долго. Две усталые официантки, сидевшие за одним столом, были похожи на грезящих наяву восточных женщин

Энгра: уйдя в свои мысли, они смотрели в разные стороны, не замечая ни друг друга, ни посетителей. Понадобилось окликнуть их, чтобы вернуть к действительности.

Большинство посетителей кафе ели сосредоточенно и молча, относясь к поглощению пищи как к серьёзному занятию, не позволяющему отвлекаться на разговор. Увлечённые шашлыками мужчины не обращали внимания даже на проходивших по бульвару женщин. Лишь несколько насытившихся, откинувшихся на спинки стульев и куривших коштыров провожали их ленивыми взглядами, точно созерцание женщин было последним оставленным на десерт блюдом, которое им уже нелегко было вместить. Женщины в сопровождении спутников шли не спеша, демонстрируя наблюдателям свою осанку, платья и украшения, одинокие же проходили быстро, держась в тени и с краю. Только однажды Печигин увидел медленно идущую сквозь сумерки девушку без спутника, равнодушно не замечавшую направленных на неё взглядов, и, конечно, сразу подумал, что уж эта-то наверняка его читательница.

Всего одна немолодая пара из посетителей кафе много разговаривала. Точнее, говорил в основном мужчина, а женщина слушала его с таким постоянным выражением понимания и жалости, что было ясно: что бы он ни рассказывал, ни объяснял или предлагал, это ничего не изменит и ничему не поможет. В лице жены (Олег почему-то сразу решил, что это супруги, связанные долгими годами совместной усталости) была привычка к заведомой обречённости всех усилий мужа. Наблюдая за ними и не понимая слов, Печигин чувствовал себя подглядывающим: мимика позволяла догадываться о многом, вот только возможности проверить эти догадки не было. Женщина неожиданно встала и, хотя казалось, что она никогда не покинет мужа, повернулась и ушла. Мужчина остался сидеть, вытянув ноги под столом, даже не поглядел ей вслед. Может, ничего их в действительности и не связывало. Олег достал тетрадь с заметками. «Путешествовать, – записал он, – значит увеличивать расстояние между собой и жизнью. Не узнавать того, что дома было знакомо и понятно, и самому оставаться неузнанным. Чем больше это расстояние, тем легче себя ощущаешь. Чужая жизнь отталкивает все попытки её постигнуть, живёшь в постоянном недоумении, к которому, наверное, со временем привыкнешь, пока не возникнет сам собой неизбежный вопрос: как можно быть коштыром?!»

Свет душного заката пробивался на бульвар сквозь стемневшую, сгустившуюся над головами листву. Попадая в него, смуглые лица коштыров тускло сияли в пепельных сумерках, как угли в золе. Между столиками кафе шёл пожилой уборщик с метлой, что-то насвистывая себе под нос. Печигин прислушался и различил, что он насвистывает начало Первого концерта Чайковского. Спустя секунду шорох метлы заглушил свист, и Олег подумал, что ему, наверное, послышалось. В газетном киоске погас свет, киоскёр с кульком семечек, оттопырившим карман брюк, выбрался из-за прилавка, закрыл свою лавочку и ушёл. Больше здесь делать было нечего. Никого, кто бы купил его стихи, Печигин так и не увидел. Может, пропустил, отвлёкшись. Расплатился за пиво и пошёл домой.

Дома его ждал ещё один сюрприз. Из памяти не шла одинокая девушка на бульваре, не обращавшая внимания на смотревших вслед, поэтому Олег взялся за перевод стихотворения «Идущей мимо». Подстрочник его выглядел так:

Ты проходишь, погружена в свои мысли, и всё же  
ты всё слышишь, не слушая, замечаешь, не глядя.  
Видишь ветер и слышишь первые звёзды,  
переходишь из вечера в ночь по пыльным улицам  
сумерек.

Я не знаю тебя, но я чувствую, как  
открывается твой тайный цветок,  
из корня которого распускается твоя улыбка,



твои глаза с их тёмным сиянием.  
Меня достигает его сладкое благоухание,  
его сырой и едкий аромат, но ступай,  
ступай мимо, не останавливайся.  
Ночь идёт за тобой по пятам, входит в город  
твоим размеренным шагом. Ночь  
на твоих плечах, твоя спина – это ночь.  
Ночь твои волосы, губы и руки твои – ночь.  
Ступай, ступай мимо, не останавливайся,  
уноси с собой свою сладость, пускай мне останется  
горечь.  
Горечь всех, кого ты покидаешь, мимо кого ты  
проходишь.  
Горечь красного перца, который становится  
чёрным,  
горечь вечерних улиц с их сгущающимся  
полумраком,  
с чёрными кошками, шастающими по дворам  
лазутчицами наступающей тьмы, со стариками  
у подъездов, глядящими тебе вслед,  
вспоминая женщин, которых любили так страшно  
давно,  
что теперь им остаётся лишь улыбаться  
в темноте беззубыми ртами.  
Я смотрю на мой город взглядом остывающего  
вечера,  
вижу, как ветер роется в листве, машины  
щупают фарами мглу, а трамваи  
ползут, засыпая, к последней остановке. Вижу  
десятки таких же, как ты, —  
прекрасных женщин, молодых и не очень,  
погружающихся в эту ночь.  
Сотни женщин приходят домой, открывают двери,  
готовят ужин,  
тысячи женщин гасят свет, распускают чёрные  
волосы,  
десятки тысяч расстилают постели, обнимают  
своих сильных и храбрых мужей,  
сотни тысяч шепчут им нежные слова – мне  
известны они все до единого,  
их не так уж и много.  
Не зная всех этих бесчисленных женщин, я всё  
о них знаю...

Дочитать Печигин не успел (стихотворение, как и большинство других, было длинным), потому что раздался звонок в дверь. Думая о том, что оно, похоже, подтверждает слова Касимова о прогулках инкогнито, которые совершает Народный Вожатый, Олег пошёл открывать. В первую секунду ему показалось, что на пороге стоит та девушка с бульвара. Впустив её на

свет, обнаружил, что девушка, скорее всего, другая, но ничуть не хуже: высокая, пышные чёрные волосы кладут тень на бледное лицо, на плече сумка, откуда выглядывает пучок зелени.

– Я буду у вас убираться и готовить.

Она деловито осмотрела комнату, не миновав взглядом удлинённых тёмных глаз среди прочих подлежащих отныне её заботе предметов и Олега. У неё были толстые ноздри, делающие её красивое лицо явно азиатским, полные губы, а когда, положив сумку, она откинула назад волосы, Печигин разглядел за щеками, где у мужчин бывают бакенбарды, едва заметную тёмную поросль. Прислал девушку Касымов. Звали её Динара.

– Можно Дина. Где у вас тут кухня?

Олег проводил её, а сам перешёл в комнату напротив кухонной пристройки, откуда ему было хорошо видно, как она приступила к готовке. Стоя спиной к окну, она достала из сумки пакеты с мясом, зеленью, кульки со специями, зажгла плиту. Скоро ей стало жарко, она сняла блузку, оставшись в майке на узких бретельках. Встряхнула волосами, раскидывая их по плечам, поправила левой рукой прядь (правой уже резала мясо), и по этому движению Печигин понял: она почти наверняка знает, что он за ней наблюдает. Хотя он сидел в глубине комнаты, не зажигая света, чтобы она его не увидела.

Ночь на твоих плечах, твоя спина – это ночь.

Ночь твои волосы, губы и руки твои – ночь.

Раздался телефонный звонок. Это был Тимур, звонивший откуда-то с телевидения, кажется, уже подшофе.

– Я к тебе девочку отправил. Как она – ещё не приехала?

– Уже на кухне, всю кулинарит.

– А, отлично. Она хорошая девочка, много чего умеет. Очень гибкая – бывшая гимнастка. Можешь оставить её у себя на ночь, если хочешь. Она в полном твоём распоряжении.

– Шutiшь?

– Ты же знаешь, что я всегда говорю серьёзно. Запомни – всегда!

Печигин помнил как раз обратное, но, может быть, здесь, в Коштырбастане, всё меняется, превращаясь в свою противоположность?

– В общем, девочка первый сорт. Рекомендую. И, заметь, для тебя совершенно бесплатно. Считай, ещё один тебе подарок.

– Спасибо, но... Я не знаю пока...

Выходит, она обыкновенная шлюха! После разговора с Касымовым Олег уже другими глазами смотрел на девушку в кухонной пристройке, на её быстрые руки, деловито пластающие и режущие куски мяса. Упорно надавливая, она заталкивала их в раструб мясорубки, из жерла которой медленно распускался алый цветок фарша...

Кем бы она, впрочем, ни была, готовила Динара отлично. Обжигая рот её котлетами, Печигин думал о том, что и всё остальное она наверняка делает так же хорошо. Если б только не этот её чересчур уверенный, спокойно ждущий взгляд! Она явно всё знала наперёд: сейчас он наестся, выпьет (она принесла с собой бутылку красного), потом захочет её. Ему достаточно будет протянуть руку. Печигин твёрдо решил, что отправит девушку домой. Но расставаться с ней так быстро не хотелось, и он предложил ей вина.

И вот она сидит перед ним, глядя своими удлинёнными глазами сквозь Олега, аккуратно отпивает из бокала (вино почти такого же тёмного цвета, как её губы), обдуманно отвечает на вопросы, и долгие паузы в разговоре не доставляют ей, кажется, никакого неудобства. Если пауза уж очень затягивалась, карий задумчивый взгляд Динары делался совсем тягучим и сладким, и Печигин увязал в нём, как муха в меду. По-русски она говорила совершенно свободно, поскольку выросла, как большинство в столице, в «европейской» семье, то есть её отец с матерью разговаривали между собой на русском. К концу второго бокала Олег уже знал, что ей два-

дцать восемь, она учится в аспирантуре финансового института и, поскольку не хочет жить с родителями, вынуждена снимать квартиру, а значит, приходится подрабатывать. Олег спросил про Народного Вожатого: видела ли Динара его когда-нибудь вживую, не по телевизору? Ответ оказался неожиданным: не только видела, но даже сидела у него на коленях. Ей было тринадцать лет, когда она победила на городских соревнованиях по гимнастике среди юниоров, и ей поручили преподнести президенту в день его рождения букет цветов от имени всех юных спортсменов Коштырбастана. Тогда ещё дни рождения Гулимова отмечались официально, и он по полдня принимал подарки и поздравления. Букет был таким большим, что Динара едва видела из-за него огромный зал президентского дворца, полный гостей. Когда она, пройдя через весь этот зал, протянула букет Народному Вожатому, тот передал его помощнику, а сам вдруг взял её под мышки, поднял кверху, так, что она увидела всё с высоты, и усадил к себе на колени. Тихо, чтобы никто вокруг не услышал, он прошептал ей в самое ухо: «Посиди со мной немного. А то мне тут так скучно...»

– И я просидела у него на коленях минут, наверное, десять, а может, и двадцать. Теперь мне уже трудно точно вспомнить, сколько. Это показали по телевидению, и фотографии были в газетах. Одна у меня до сих пор хранится.

– Ну и как это – сидеть на коленях у главы государства? Что вы тогда чувствовали?

– Что я чувствовала? Это так просто, в двух словах, не расскажешь. Не знаю, поверите ли вы, если я скажу, что чувствовала бессмертие? То есть полную в нём уверенность, не называя её, конечно, этим словом. Тут нужно объяснить... Дело в том, что за два года до этого умерла моя старшая сестра – у меня на глазах попала под машину. И я тогда стала непрерывно думать о смерти, жила в постоянном ужасе перед ней. Дети ведь воспринимают всё иначе, чем взрослые... Хотя не знаю, дети, конечно, тоже разные бывают. Но, когда я увидела, как машина переехала сестру, со мной случилось, наверное, что-то вроде помешательства. Я перестала засыпать в темноте, всё время видела её лицо... Ну и так далее. Даже не хочу об этом вспоминать. И вот, сидя на коленях у Народного Вожатого, я вдруг поняла, то есть, конечно, не поняла – что я могла в тринадцать лет понять?! – а почувствовала, ощутила всем телом, что никогда не умру. Что это несомненно и наверняка. Что его огромная горячая рука, лежавшая у меня на талии, защищает меня от смерти. И весь ужас, в котором я прожила два года, прошёл и никогда уже не возвращался. Самое важное, что нужно человеку для жизни, я узнала за эти десять минут. И теперь, когда у меня бывает тоска или, знаете, места себе не нахожу, я не иду ни к родителям, ни к подругам. Я достаю ту газету с фотографией, где я у него на коленях, смотрю на неё, и ко мне возвращается то ощущение... Тот покой... нет, не покой... Не знаю, как это назвать...

Она улыбнулась извиняющейся улыбкой – впервые за вечер. Печигину нетрудно было представить её тринадцатилетней, на коленях у президента. Нужно только убрать всю косметику с лица и увидеть его сосредоточенно-серьёзным, каким оно по большей части было и сейчас, ушедшим в себя, потрясённым хлынувшим в душу восторгом бессмертия. Может быть, покрасневшим или с полураскрытым по-детски ртом. Динара была первым открывшимся ему здесь человеком, и то, что он узнал, было понятно, трогало и, конечно, будило желание узнать больше – протянуть руку к этим чёрным волосам и плавным плечам... «Девочка первый сорт, рекомендую». Нет и нет. Он не может позволить Тимуру устраивать за него свою личную жизнь, чтобы таким образом её контролировать. Он и так находится здесь почти целиком в его власти. Пределы и намерения этой власти были неясны, но Печигин понимал: чем больше он принимает подарков, тем твёрже она становится.

Вино закончилось, Динара промокнула салфеткой губы и сказала, что ей пора. Но даже не встала, очевидно, ожидая, что Олег предложит остаться. Глаза вглядывались ему в лицо, ища признаки невысказанного желания. Печигин поднялся: «Пора так пора». Она не обнаружила ни разочарования, ни радости от того, что работа оказалась легче и закончилась раньше, чем

она ожидала. Просто попрощалась, сказала, что в следующий раз придёт через два дня. Олег предложил проводить, она отказалась: автобусная остановка близко, ехать ей без пересадок.

Ступай, ступай мимо, не останавливайся,  
Уноси с собой свою сладость, пускай мне останется  
горечь.  
Горечь всех, кого ты покидаешь, мимо кого ты  
проходишь...

Спать не хотелось. Олег включил телевизор. По одной программе шёл исторический фильм: коштырская конница, подчиняясь мановению руки мордатого полководца в меховой шапке, затмевала солнце тучей стрел и мчалась на штурм укрепленного города, защитники которого обрушивали на головы нападавших камни и расплавленный свинец. Смотреть на это было нелегко. По другой программе были спортивные новости: мосластые борцы закручивали друг друга в узлы. По третьей ненадолго возник Народный Вожатый, выступавший на каком-то съезде, но не успел Печигин как следует в него взглядеться, как этот сюжет сменили вести с полей: комбайны, хлопкоуборочные машины, колышущаяся под ветром пшеница или рожь, просторы до горизонта. Олег снова нажал кнопку пульта – вот наконец и Касымов: о чём-то оживлённо дискутирует с человеком в очках, судя по саркастической ухмылке, не веря ни одному его слову. Ещё одно нажатие на кнопку, и перед Олегом возникло знакомое лицо актёра Меньшикова, говорящего по-коштырски с актрисой, чью прибалтийскую фамилию Печигин не помнил. Да это же «Утомлённые солнцем»! И все, кто появлялся на экране, разговаривали между собой на коштырском! А вот и сам режиссёр в роли легендарного комдива – гребёт, сидя в лодке, и, проникновенно шурясь, ласково втолковывает дочке непостижимую абракадабру. Почему-то это особенно поразило Олега, разом заставив его осознать, как далеко он от дома. Куда же он забрался, если даже в фильме, который помнил почти наизусть, не может понять ни слова?!

Переключил обратно на Касымова, уже разгромившего оппонента и теперь с той же саркастической ухмылкой обращавшегося к телезрителям, потом на спортивные новости. Борцы закончили пластать друг друга, шёл репортаж с шахматного турнира. Два шахматиста почти неподвижно сидели над доской, камера подолгу останавливалась то на одном, то на другом, и Печигин обнаружил, что может с интересом наблюдать за лицом напряжённо думающего человека. Из всех программ коштырского телевидения эта была единственной, которую не хотелось сразу же переключить. Над играющими висела демонстрационная доска, и можно было следить за ходом партии.

Почему Тимур, которому сулили шахматную карьеру, внезапно и без видимых причин забросил шахматы? У Олега только сейчас возник отчётливый ответ на этот вопрос. Он сделал это потому же, почему ушёл с философского факультета, а потом уехал из Москвы, хотя благодаря отцовским связям легко мог и в столице достигнуть вершин. Каким бы отличным шахматистом Касымов ни был, он вряд ли стал бы чемпионом мира, так же как маловероятно было ему сделаться ведущим столичным философом (если такая вакансия вообще существует). А Тимур – настолько-то Печигин его изучил – ни за что б не согласился быть одним из ряда, даже если это самый первый ряд. Уж лучше вообще вне ряда, лучше совсем никем. Но становиться никем необходимости не было, потому что в запасе у него был Коштырбастан, где благодаря образованию и опять же связям он был вне конкуренции. Здесь он быстро стал единственным и неповторимым, полновластным хозяином общественного мнения, которое он же и создавал.

Но сам Тимур после нескольких поездок на родину объяснил Олегу своё решение окончательно там остаться иначе:

– Я понял: через эту страну проходит сейчас ось истории! Не здесь, в России, и тем более не на Западе, где всё уже закончилось и не произойдёт больше ничего существенного, а там – в Коштырбастане – совершается духовная революция планетарного масштаба! Когда, положив конец гражданской войне, к власти пришёл Рахматкул Гулимов, это была не просто смена одного правителя другим. Это было изменение самой сущности власти: власть силы и денег уступила место власти духа и вдохновения! Ты знаешь, с чего он начал встречу с журналистами, на которой я был? С того, что прочёл своё новое стихотворение! Говорят, он и заседания Совета министров нередко начинает со стихов. И на этих заседаниях его стихи и поэмы превращаются в указы и распоряжения, по которым живёт вся страна! Стихи о пустыне, например, легли в основу плана строительства искусственного водохранилища в песках, а стихи о вечере в Старом городе вылились в проект реконструкции старых кварталов. Коштырбастан сегодня – это поэзия у власти! А поскольку поэтическое вдохновение той высочайшей пробы, которая очевидна в этих стихах всякому, кто читает их в оригинале, даётся человеку от Аллаха, то у меня нет сомнений, что через Народного Вожатого страной правит воля неба! Я окончательно убедился в этом, когда увидел его своими глазами. В зал, битком набитый прожжёнными журналистами со всего мира, вошёл обычный с виду, невысокий человек – и словно бы вся геометрия помещения сместилась, съехала в его сторону! Вместо того чтобы позволить этой журналистской нечисти себя расспрашивать, он сам устроил им допрос, и они отвечали, заикаясь и мямля, как двоечники на экзамене! Я тогда понял, что, чего бы мне это ни стоило, должен быть рядом с ним – чтобы видеть гигантские шаги этого нового мифа, быть причастным к созданию того, что на наших глазах станет легендой!

Разговор происходил московским октябрём в дешёвом кафе со слезящимися стёклами, за которыми дробилась и рассыпалась в мокрых огнях чёрная улица. Хозяйка армянка делала крепкий кофе, поэтому, несмотря на вечно не убранные столы и разношёрстную публику, Печигин часто встречался там с друзьями. (За исключением Касимова, все они, конечно, были поэты.) В тот вечер Олег с Тимуром сидели вдвоём, Касимов делился впечатлениями от последней поездки в Коштырбастан.

– Я, по правде говоря, вообще не понимаю, для чего человеку на вершине власти писать стихи, – сказал Олег, озадаченный непривычно восторженным тоном Тимура. – У него в распоряжении целая страна, делай с ней что хочешь – так нет, ему ещё нужно со словами в игрушки играть! Окажись я на его месте, я б такие из действительности поэмы нагромоздил, так бы всю жизнь вокруг зарифмовал...

– Ну, на его месте тебе, во-первых, никогда не бывать, а во-вторых, тебе ль не знать, что поэзия куда больше действительности, способной вместить лишь малую её часть. Действительность подчинена законам необходимости, и любой правитель, какой бы абсолютной властью он ни обладал, – а власть Гулимова, вынужденного лавировать между племенами и кланами, далеко не абсолютна – лишь исполняет эти железные законы. Вспомни Сартра: «Самый полномочный человек всегда повелевает именем другого – канонизированного захребетника, своего отца, и служит проводником абстрактной воли, ему навязанной». (Своих любимых авторов Тимур мог шпарить наизусть целыми страницами.) Так вот, Гулимов опровергает Сартра! Потому что власть поэзии свободна от земной необходимости, от любых захребетников, за ней нет никого, кроме неба! Всё дело в том, что Народный Вожатый не политик, балующийся на досуге стихоплётством, а поэт, в кризисный для страны момент принявший на себя обязанности правителя. Почему, скажем, Рембо мог стать коммерсантом, а Гулимов не может сделаться президентом? Разница только в том, что Рембо оставил поэзию, а Народный Вожатый стал писать ещё лучше!

– Что-то прежде ты поэтов не жаловал...

– Ты друзей своих имеешь в виду? Сравнил тоже! Они могут сколько угодно оплакивать свои любви, воспевать бессонницы или ковыряться в своих снах – это ровно никому, кроме

горстки таких же горемык, не интересно. Тогда как любовь Народного Вожаго – это событие национального значения, его бессонница – фактор большой политики, его сны – а многие стихи Гулимова явно возникают из снов – это видения пророка! Потому что Народный Вожатый, конечно же, поэт-пророк, и не простой, а хорошо вооружённый – из тех вооружённых пророков, которые, по словам Макиавелли, всегда побеждают. Поэтому и сны его всегда сбываются!

Говоря, Касымов смотрел не на Олега, а куда-то поверх него и вдаль, точно различал в чёрном слезящемся окне у него за спиной грядущий окончательный триумф Народного Вожаго. Потом скосил глаза на Печигина, и по губам пробежала привычная извилистая усмешка. Тогда он, похоже, ещё сам до конца себе не верил.

Друзей Печигина Тимур действительно не жаловал, точнее сказать, просто ни в грош не ставил, хотя никогда им этого и не показывал. Их было трое, иногда четверо или пятеро, собиравшихся в том кафе возле метро «Пролетарская», которое теперь, когда Олег вспоминал о нём в Коштырбастане, представлялось ему мутным пузырьком, плывущим среди затяжного дождя или мокрого снега. Осенью и зимой встречались чаще – не только по выходным, но, бывало, и в будни: когда начинало рано смеркаться, дома поодиночке становилось совсем уж невмоготу. Не все, впрочем, были одиночками (Печигин, например, жил тогда с девушкой по имени Полина, приехавшей в Москву из города Коврова), но всё равно тянуло к шатким столикам, замызганным стёклам, разговорам. Спорили часами до полного забвения предмета спора, до выплеснутого в лицо пива, случалось, и до драк. Из-за того, кто больший гений, Заболоцкий или Олейников, могли рассориться вдрызг и на всю жизнь – чтобы через месяц-другой снова сидеть в том же кафе за тем же или соседним столом, потому что куда ж ещё деваться... Печигин, правда, втягивался в споры редко, его бедой была объективность: за каждым из споривших он всегда был готов признать его долю истины. Пока другие ломали копыя, он обычно занят был тем, что уравнивал ложечку на ободке кофейной чашки или строил хрупкую пирамидку из фисташковых скорлупок. Каждый из его друзей располагал железной иерархией авторитетов, построенной таким образом, чтобы и сам её создатель занял в ней достойное место – пусть не на вершине пирамиды, но неподалёку от неё, – поэтому споры о том, кто из поэтов более велик, затрагивали каждого лично, угрожая всей его постройке. Любой из них был, в сущности, абсолютным диктатором на собственной воображаемой территории, чьи границы то и дело пересекались с другими такими же, что вызывало неизбежные конфликты, заканчивавшиеся либо пивом в физиономию, либо примирением, то есть взаимным признанием. Не участвуя в этих схватках, Печигин порой подозревал, что из-за этого его не принимают всерьёз, и тогда упирался в какой-нибудь пустяк, иногда в очевидную нелепость и отстаивал её, пусть один против всех, с тем большим упорством, чем меньше сам в неё верил.

Касымов в этой компании ценил не столько за познания в философии, сколько за то, что он всегда был при деньгах, которые тратил с лёгкостью и одалживал, не требуя возврата (потом, правда, оказывалось, что он до копейки помнил, кто и какую сумму ему должен). Кроме того, друзей Печигина привлекало в Тимуре то, что он не писал ни стихов, ни прозы, ни статей, ни даже каких-нибудь эссе, – его честолюбие имело глубоко скрытые, непостижимые для них формы, проявляясь лишь в едва заметно насмешливом тоне. Его бескорыстие, готовность транжирить деньги и время, выслушивая сплетни и обиды на жизнь, делали его желанным гостем в кафе, куда он, правда, заглядывал не так уж часто – в основном повидаться с Печигиным. Он никогда не спорил с тем, что тот или иной из добившихся успеха поэтов в действительности г..., потому что г... была, на его вкус, вся окружавшая его в Москве действительность: несъедобной, по сравнению с коштырской, была еда, невыносимым – человеческое изобилие, чудовищные толпы народа, ужасной – погода, омерзительной – политика, некрасивыми или развратными – женщины, а современное искусство в целом он называл не иначе как жупельнической клоунадой, с чем любой из поэтов с готовностью соглашался, поскольку пода-

валось это всегда таким образом, точно для собеседника Касымов делал исключение – его-то к этой клоунаде он не причислял. Коштырбастан был, по словам Тимура, раем, чью благодать не смогли до конца разрушить ни гражданская война, ни неизбежные проблемы, возникшие после обретения независимости, и прикосновение к этому раю обесценивало для него всё, что могла предложить ему Москва. Точно сами воздух, земля и вода в столице были загрязнены и отравлены, но её обитатели, привыкнув, не замечали этого, и лишь Тимуру, вдохнувшему воздуха Коштырбастана и испившему его воды, очевидна была безнадежная испорченность всего вокруг. Он и деньги с такой лёгкостью швырял на ветер как будто потому, что не видел ничего, ради чего стоило бы их здесь беречь.

Благодаря Тимуру друзья Печигина, да и сам он, привыкли считать Коштырбастан краем, где всё иначе, чем здесь: хозяин видит в незнакомом госте возможного ангела и готов отдать ему последнюю рубаху, женщины покорны и в то же время полны достоинства, а старики и юноши совершают зиярат (паломничество) через всю страну, чтобы только прикоснуться к могиле любимого поэта. (Статьи о действительном положении дел в Коштырбастане Олег стал читать много позже, когда замаячила возможность путешествия.) Касымов, ездивший туда навещать родственников, был живым представителем этого рая, что ещё выше поднимало его статус. Но если интерес друзей Олега к Тимуру был легко объясним, то понять, что заставляло самого Касымова просиживать с ними иногда целые вечера, было сложнее. Не мог же он не замечать, что они одновременно презирали его за то же, за что и ценили: за деньги, за то, что не поэт, азиат, бездельник (Касымов работал, и довольно много, в отцовском дипломатическом ведомстве, но всегда представлял дело так, будто его должность – чистая синекура), наконец, за то, что, хоть и вырос в Москве, всячески подчёркивал, что все здешние проблемы ему до лампочки. Возможно, на службе он чувствовал себя чужим среди чиновников – карьера сама по себе его совершенно не интересовала. Тогда, в Москве, он ещё мечтал о свободе и безответственности, поэтому его притягивало общество людей вне общества – а может ли быть кто-нибудь маргинальней непечатающихся (да и печатающихся, за редким исключением, тоже) поэтов? Наконец, возможно, ему просто всё равно было, где и с кем убивать вечер, потому что то, что представлялось Олегу бесцельной тратой времени, было в действительности способом скрасить ожидание, которым наполнена была в ту пору жизнь Касымова, – ожидание не просто настоящей работы, а своей миссии, открывшейся ему в тот день, когда он впервые увидел и услышал Народного Вожатого.

К застольным спорам в кафе он был ещё более равнодушен, чем Печигин, а на вопрос, кого из поэтов предпочитает, неизменно отвечал: «Мой любимый поэт – Зигмунд Фрейд». Только однажды видел Олег Касымова вышедшим из себя. Это случилось, когда в разгар дискуссии один из участников шваркнул кулаком по столу и задел тарелку с остатками кетчупа, плеснувшего Тимуру на жилет. Касымов вскочил, сжатые губы на смуглом лице побелели от ярости, Олег думал, в бешенстве он перевернёт стол со всем, что на нём находилось. Но Тимур взял себя в руки, аккуратно стёр кетчуп с жилета салфеткой, молча принял извинения и скоро ушёл, ни с кем не попрощавшись.

– Ишь, Б-брам-мел выис-к-кался, – пробормотал ему в спину слегка заикавшийся поэт, которому пришлось извиняться.

Знаменитого английского денди он помянул не случайно: мало к чему, кроме большой политики, Касымов относился так же серьёзно, как к одежде. Через несколько лет после окончания МГИМО, следуя прихотливым изгибам отцовской дипломатической карьеры, Тимур прожил два года в Лондоне, откуда привёз не только беглый английский, но и несколько чмоданов фирменного шмотья. Он демонстрировал Олегу все эти джемперы, шейные платки, кардиганы, клубные блейзеры и прочее, пока не понял окончательно, что тот не способен оценить его выбор и вкус. «Ты безнадежен», – махнул рукой Касымов, в очередной раз убедившись в напрасности своих усилий привить Печигину более высокие ценности. Потом, когда Тимур

уехал в Коштырбастан, где располнел почти так же быстро, как поднялся до служебных вершин, все эти вещи пришлось продать или выбросить, о чём он сожалел чрезвычайно.

Из всех Олеговых друзей заикавшийся поэт, которого Печигин считал самым талантливым (он вообще никогда не сомневался в одарённости своих приятелей), недолго любил Касымова наиболее явно и открыто. Тот, напротив, платил Владике Коньшину утрированным восхищением. Как-то они сидели в кафе вчетвером – Коньшин, Тимур, Олег и Полина. Касымов попросил Владика что-нибудь прочесть. Тот согласился только при условии, что после каждого стиха Тимур будет ставить ему рюмку водки. Наверное, думал, что он откажется, но щедрый Касымов легко принял условие. «Нет, я передумал, – Коньшин решил, что продешевил, – хочу коньяка! Рюмку коньяка!» Тимур согласился и на это. После третьего стихотворения заикание поэта, почти незаметное по трезвой, разительно усилилось. Застыв посреди длинного слова, он никак не мог сойти с недававшегося звука. Его челюсть ходила ходуном от мучительных усилий, лоб покрылся потом. Печигин, знавший многие его стихи наизусть, пытался подсказать, произнести сложное слово вместо него, но Коньшин властным движением отстранил его: не надо, сам справится. После пятой рюмки, начиная буксовать, Владик стал бешено материться – только с матом удавалось ему преодолевать препятствия, подстерегавшие теперь чуть не в каждой строке стиха. Почему-то именно матюги, бывшие изо рта фонтанами вместе со слюной, позволяли ему справиться с заиканием. Когда он застревал особенно безнадежно, Касымов умоляюще протягивал к нему руки, прося продолжения: «Ну же! Ну! Ещё немного!» Полина закрыла рот ладонью, чтоб спрятать смех. Но и поэт не оставался в накладе, поглощая рюмку за рюмкой дармовой коньяк. Взгляд его делался всё более бессмысленным и водянистым, но он был уверен, что в выигрыше, пока не отвалился на спинку стула и не стал сползать на пол. Под конец Касымов заказал сразу целую бутылку. «Всё, кончайте уже, хватит с него», – хотел вмешаться Печигин, но Владик упорно тянулся к бутылке из последних сил. Тимур отодвинул её: «Нет уж, сначала стихи». Владик только беспомощно шевелил ртом, икая. «Всё, готов, – констатировал Касымов. – Слабоват оказался. Хреновый, видать, поэт. Можем, пожалуй, отсюда трогаться».

Он хотел, прихватив коньяк, податься вместе с Печигиным и его девушкой куда-нибудь ещё – в те годы Тимуру ничего не стоило ночь напролёт прошляться из одного заведения в другое, а потом, проспав от силы пару часов, как ни в чём не бывало идти на службу (для правильно организованного человека, говорил он, это пустяк), – но Полина настояла, чтобы он вызвал Коньшину такси и отправил его домой. Ей было жаль Владика, хоть она и ничего не смыслила в поэзии.

– Для чего ей разбираться в поэзии, когда она сама поэма?! – сказал как-то Олегу Касымов, и услышавшая эти слова Полина (для которой они в действительности и предназначались) отвернулась в сторону, чтобы ни один из них не заметил на её лице улыбки удовольствия, вызванной этим сомнительным комплиментом.

Касымову она, конечно, не верила: во-первых, он был восточным человеком, а в Коврове, где она выросла, им никогда не доверяли, во-вторых, сын дипломата, выпускник МГИМО, философ и пижон, он обладал всем, чтобы выглядеть в её глазах выдуманным персонажем – такие встречаются в кино или в книгах, но не в жизни, во всяком случае, не в её. Пожив в Москве, она, правда, на многое нагляделась, и скрытое недоверие давно сделалось для неё привычным отношением к окружающему. Из-за высокого роста Полину часто приглашали модельеры, фотографы, дизайнеры и прочие мутные личности, которых она всех скопом звала «мистификаторами» (она любила такие длинные и таинственные слова), не испытывая при этом никакой потребности узнать, что они представляли собой на самом деле. Она часто принимала от них предложения подработать (постоянной работы у неё тогда не было), а потом со смехом рассказывала Олегу обо всех этих свержзанных типах, неумоимо имитирующих соб-



ственную значимость и возможности, говоря одновременно по нескольким мобильным, называя известных людей детскими прозвищами и всегда спеша с одной встречи на другую, что не мешало им успевать приставать к ней. Но хотя Полина выглядела открытой и как будто на всё готовой, из попыток клеить её ничего не выходило, потому что внутренне она всегда была настороже и держала дистанцию. Она смотрела на них ясным, прямым и чистым взглядом провинциалки – и не верила ни одному слову. Полине было присуще точное чувство формы, придававшее ей стать и осанку, от которых сверхзанятые «мистификаторы» забывали обо всех своих делах и останавливали её прямо на улице. Это чувство формы требовало дистанции между ней и чужим ей миром столицы и свободы, которую предоставлял ей Печигин (только убедившись, что он способен не ограничивать и не контролировать её, она решилась с ним остаться). Сама Полина манера двигаться, выделявшая её в толпе, создавала расстояние между ней и окружающими. У Олега не раз перехватывало горло, когда он видел её среди прохожих, идущей ему навстречу. Удивление, что девушка, перед которой распахивались любые двери столицы, из всех открывавшихся ей возможностей выбрала его, не покидало Печигина всё время, пока длились их отношения, – так что, когда они в конце концов расстались, он воспринял это как восстановление неизбежного хода вещей.

Глядя на её такую законченную, самодостаточную, ни в чём с виду не нуждавшуюся красоту, Олег часто спрашивал себя, откуда бралась в ней потребность в нём – если даже мимо-лётной мысли о Печигине с его на ощупь писавшимися, часто ему самому, а не то что Полине непонятными стихами нечего, казалось, было делать на этом безоблачном челе. Он был не слишком высокого о себе мнения: взгляд в зеркало на своё одутловатое лицо обычно заставлял его криво ухмыльнуться, удавшиеся стихи Олег воспринимал как незаслуженный дар, и уж тем более таким даром виделась ему Полина. Он знал, что критерии красоты создаются неосознанным коллективным договором современников, поэтому любовь Полины мысленно приравнивал к признанию этих самых современников, на которое никогда особо не рассчитывал, – она была как бы их представителем, лучшим из того, что могло дать ему его время. Во всяком случае, пока она была с ним, ни о каком другом признании он и не помышлял. Иногда ему достаточно было увидеть её, например, читающей на кровати с полуоткрытым от внимательности ртом и забытым бутербродом в руке, чтобы прилив внезапного счастья переполнил его настолько, что даже близость не могла уже ничего к этому добавить: объём счастья, которое может вместить человек, не безграничен. Какое ещё, к ляду, нужно признание?!

Но гораздо больше, чем красота, трогало Печигина её бдительное недоверие к окружающему, распространявшееся не только на «мистификаторов», но и вообще на всё, не исключая Олега. Порой он ловил на себе её изучающий взгляд исподлобья: покусывая губы, она делала выводы, о которых ему оставалось только догадываться. Полина ничто не принимала как данность, не доверяла ничьим мнениям, хотя и вовсе не стремилась их опровергнуть, – просто с самого начала знала, что к ней они не имеют отношения. Она часто казалась Печигину человеком, для которого всё, бывшее прежде неё, недостоверно, похожим на наблюдательного иностранца в чужой стране, приглядывающегося к местным обычаям, ни с чем не споря, но и не соглашаясь. Живя с ней, Олег не раз испытывал стыд за то, как многое привык принимать на веру, из вторых рук, не удостоверившись, что ему не всучили подделку. Пока она была рядом, прогнившая, истёртая, проданная-перепроданная, до невозможности приевшаяся действительность столицы то и дело открывалась ему такой, как если бы он видел её впервые. (Когда она ушла, окружающее разом состарилось на десятки лет, высохло и окаменело, как поверхность Луны.)

Оборотной стороной Полининого недоверия ко всем и вся, включая несомненные, с точки зрения Печигина, авторитеты, была жуткая мешанина, царившая в её голове. Без всякого труда в ней уживались исключаящие друг друга представления и вкусы, но все попытки Олега внести в этот хаос хоть какой-то порядок она встречала в штыки, воспринимая как дав-

ление на неё. Полина чувствовала давление в любом его отчётливом суждении, а уж если оно касалось её, готова была спорить до последнего. Ни с кем не убеждался Олег с такой ясностью в правоте излюбленной формулы Касымова: «Человек человеку – закон». Всё, что Печигин говорил и делал, даже если это не имело к Полине никакого отношения, становилось для неё законом, против которого она не уставала бунтовать. Но пока на всякое его «да» она отвечала «нет», а на «нет» – «да», он мог быть уверен, что она его любит. Когда в этом возникли первые сомнения, одним из признаков стало то, что она начала отмалчиваться, избегать споров и даже соглашаться. Но это было такое равнодушное согласие, что Печигин сам готов был выдвинуть против себя десятки возражений, чтобы только втянуть её в спор, как прежде. («Контакт – это конфликт, – говорил Тимур. – Без конфликта нет контакта».) Полина только пожимала плечами: «Наверное, ты прав...» – и Олег оставался со своей правотой один на один, не зная, что с ней делать и как от неё избавиться.

Касымов, на её взгляд, был по всем признакам «мистификатором» из «мистификаторов», но их сближала общая для обоих чуждость столичной жизни. Полина скрывала её, исподтишка наблюдая за окружающим, зато Тимур подчёркивал и демонстрировал, придавая тем самым уверенности и ей. Кроме того, из всех «мистификаторов» он был единственным, кто никогда к ней не клеился, и восхищение, бывшее у него всегда для неё наготове, казалось совершенно бескорыстным. Едва завидев Полину, он вскидывал в приветствии обе руки и начинал фонтанировать комплиментами. Её это смешило, она не верила ни слову, но не могла скрыть, что ей приятно.

Не верила она и в его бескорыстие и, осмелев от расточаемых Тимуром похвал, начала даже сама провоцировать. Однажды, когда Касымов был у них в гостях, она первой предложила ему выпить на брудершафт, а потом, сделав вид, что устала от разговоров, включила музыку и, махнув в сторону Печигина рукой («Ты всё равно не умеешь»), позвала Тимура танцевать. Вставая с дивана, она как-то наискось повела плечами, точно выскальзывая из той своей формы, которую до этого момента тщательно блюла, при этом её слегка качнуло, хотя выпили они в тот вечер не так уж много. Но ей много было и не нужно, а Касымов пьянел (или делал вид, что пьянеет) от одного её присутствия. Он был ниже её почти на голову, но танцевал отлично, мощно двигаясь только начинавшим тогда полнеть телом и так и этак лихо вращая Полину. Она удивлённо и радостно вскрикивала на особо крутых поворотах, а Тимур оглядывался на Печигина и подмигивал.

Женщины окружали его всегда, Олег помнил, что даже в школе он пользовался постоянным успехом у одноклассниц, а позже не раз видел Касымова то с одной, то с другой, то сразу с двумя одновременно. Его неизменная уверенность, что всё здешнее лишено какой бы то ни было ценности, притягивала к нему тех, кто только и ждал повода махнуть на всё рукой и чувствовал в Тимуре обещание разом избавиться их от вязкой тяжести жизни. В те годы, предшествовавшие отъезду в Коштырбастан, он был как смерч с воронкой пустоты посередине, отрывавший от земли всё, что втягивал в себя. Правда, как далеко заходили его отношения с женщинами, Печигину было неясно – в свою частную жизнь Тимур никого не пускал. В кафе на «Пролетарской» Касымов отзывался о женщинах по большей части пренебрежительно: «Они просто-напросто копировальные машины природы – только и ждут случая, чтобы воспроизвести тебя в каком-нибудь увешанном соплями недоноске! А любовь служит им смазкой». Поэты слушали его кто одобрительно, кто с усмешкой, а он, не обращая на их реакцию особого внимания, знай себе вещал: «Секс – это жалкий паллиатив, компромисс между подчинением и расчленением, то есть между искусством и преступлением: чужое тело требует либо покориться ему и воспроизвести кистью, карандашом, резцом скульптора или фотокамерой, либо победить и тогда разрушить его, развалить на части!» После таких (и множества подобных) фраз можно было подумать, что Касымов какой-то радикальный извращенец и обычные отношения с противоположным полом его интересуют в последнюю очередь, но Печигин знал его слиш-

ком давно, чтобы судить о нём по словам, поэтому несколько не удивился, когда, незадолго до переезда в Коштырбастан, тот познакомил его с молодой женой, которую нашли ему родители, – окончившей МГУ красивой двадцатидвухлетней коштыркой из хорошей семьи. Крайние высказывания Тимура объяснялись не столько желанием произвести впечатление на слушателей, сколько его искренней тягой к любым крайностям. То, что они часто исключали друг друга, его не смущало. Ничто Касымов не отстаивал так истово и не воплощал так последовательно, как право человека противоречить самому себе. То он утверждал, что ислам должен заменить исчерпавшее себя христианство и спасти мир от буржуазной заразы, то доказывал, что ислам сам нуждается в спасении от клерикалов и законников, то предрекал неизбежную мировую революцию, то пришествие новой расы господ, то объявлял сверхчеловека единственным выходом из человеческой ситуации, то называл его концом человека и его смертью. Вообще идея сверхчеловека была его коньком ещё со студенческих лет, когда, учась на философском, он взялся писать работу о сравнении ницшеанского *Übermensch*'а с «аль-инсан-аль-камилом» – «совершенным человеком» суфийских мистиков. С тех пор этот «аль-инсан-аль-каmil» не сходил у него с языка. Печигин и его приятели в кафе на «Пролетарской» столько узнали о его предполагаемых свойствах и качествах, как если бы он приходился Тимуром близким родственником. Своё представление о нём он описывал им так:

– Вспомните самое сильное вдохновение, какое когда-либо у вас было. Увеличьте это состояние в тысячу или в десять тысяч раз – цифры здесь уже не имеют значения – и вообразите человека, для которого это было бы обыденностью, его естественным уровнем существования. Который испытывал бы такое вдохновение не от случая к случаю, а постоянно, ежеминутно! Это и есть совершенный человек – мост, или, по словам ибн Араби, перешеек между мирами Мульк и Малакут, между дольным и горним, ничем не замутнённое зеркало творящей силы мироздания! Для такого человека нет невозможного!

Работу о нём Тимур так и не дописал, но до того основательно освоил тему, что, впервые увидев президента Гулимова, сразу и без труда разглядел в нём максимально возможное приближение к образу «совершенного человека» – а может быть, и его самого.

Но в тот вечер, когда в гостях у Печигина он пил на брудершафт, а потом танцевал с Полиной, до этого было ещё далеко. «Аль-инсан-аль-каmil» оставался абстракцией в голове Тимура, и никому из них троих не могла прийти мысль, что он когда-либо воплотится в реальности. Глядя на рьяно отплясывавшего Касымова, трудно было заподозрить в нём теоретика и будущего толкователя «совершенного человека». Смеша Полину, он изображал то испанского кабальеро, то ковбоя с Дикого Запада, то ещё кого-нибудь и, оборачиваясь к Олегу, подмигивал. Полина тоже то и дело смотрела на него через плечо Тимура. Они оба помнили о нём, оба поддразнивали его, но это было не обидно, Печигину даже казалось, что они танцуют больше для него, чем для себя. Его отношения с Полиной (как и дружба с Тимуром) никогда не были лёгкими, и довольно скоро им пришёл конец, он остался один и ни с чем, – но в тот вечер им было легко втроём. Одна мелодия сменяла другую, Полина смеялась, танцуя, точно шаривший по ней взгляд Касымова действовал на неё, как щекотка, она захлёбывалась своим смехом, запрокидывала голову, будто купалась в нём; наконец она оступилась, Тимур кинулся её ловить, Олег тоже вскочил с дивана помочь ему, но она всё-таки упала, потому что хотела упасть, рухнуть на пол, чтобы ничто не мешало покатываться со смеху. И они хохотали все вместе, сидя на полу, прислонясь кто к чему, заражая друг друга приступами смеха, и никак не могли успокоиться. И уже не вспомнить теперь, глядя в потолок большого дома старшего референта министра путей сообщения Коштырбастана, отправленного советником посла в Бельгию, и прислушиваясь к непривычным звукам коштырской ночи (кажется, по соседству держали животных, овец или коз, – Печигину иногда слышалось в темноте какое-то бляение), что же в тот вечер было такого смешного?

С утра Печигин засел за перевод, но работа не пошла: длинные периоды Народного Вожа- того, которые Олег безжалостно выкручивал, загоняя в нужный размер, хрустели суставами, не поддаваясь, ему казалось, что он ломает строки стихов об колено. Наконец, пробившись несколько часов впустую, он плюнул и вышел на улицу. Дневной жар, почти не ощущавшийся в доме, дохнул ему в лицо. Небо, стены, дувалы, асфальтовая дорога – всё было серым или белым, не сожжённые солнцем краски оставались только в одежде редких прохожих, да ещё две чёрные козы паслись на клочке травы напротив дома, укрывшийся в тени тутовника козопас приглядывал за ними вполглаза. Хотя центр города был близко, козы никого не удивляли, прохожие не обращали на них внимания. (Позже Олег узнал, что во время гражданской войны многие горожане покинули страну, а на их место, купив за бесценок освободившиеся дома и квартиры, въехали жители кишлаков, привезя с собой не только свой скarb и привычки, но и животных. Теперь пасущихся овец, коз или ишаков можно было встретить во дворах в двух шагах от возводимых высотных зданий.) Печигин спросил у проходившей мимо женщины, где ближайший рынок, и пошёл, куда она махнула рукой.

На рынке былолюдно, продавцы, поймав взгляд Олега, начинали зазывать его, отделаться от них было нелегко, поэтому он шёл между рядами, стараясь не задерживаться. Громоздившиеся на прилавках овощи и фрукты – помидоры, клубника, персики, сливы – были огромными, сочащимися цветом, спелостью, светом, точно он попал в павильон ВДНХ советских времён, где были собраны рекордные экземпляры всего, что можно вырастить на земле. Да и сами коштыры, заляпанные солнечным блеском, скалящие в зазывных улыбках золотые зубы, напоминали о безвозвратно канувшей эпохе дружбы народов. Расплачиваясь за купленные овощи, Олег заметил в дальнем конце ряда высокого мужчину, похожего на прятавшегося в тени тутовника у его дома козопаса. На его потном лице лежал слепой блик света, поэтому полной уверенности у Печигина не было, да и пастуха, выходя из дома, Олег едва разглядел, и всё же, когда тот возник неподалёку во второй, а потом в третий раз, сделалось не по себе: пастух за ним как будто следил. Чтобы проверить, Олег перешёл в ту часть рынка, где торговали золотом. И продавцами, и покупателями здесь были только женщины: одни сидели за прилавками, лениво перебирая разложенные на тёмном бархате украшения, другие приценивались, торговались, спорили, примеряли. Мужчин тут можно было пересчитать по пальцам, поэтому неспешно идущего между рядами женщин козопаса Печигин заметил сразу. Может, это Тимур приставил человека охранять его? Вряд ли. Зачем скрывать от Олега его охрану? Рынок был полон народа, но Печигин вдруг почувствовал себя до ужаса одиноко. Нет, этот небритый тип в мятой рубашке навывпуск следовал за ним не для того, чтобы охранять, а с какой-то неизвестной Олегу целью. Он не торопился, уверенный, что Печигин никуда не денется. Олег быстро вышел с рынка и свернул в безлюдный переулок. Если козопас пойдёт за ним дальше, не останется сомнений, что это не случайное совпадение, которым ещё можно было объяснить встречу на рынке.

Олег встал к стене в узкую тень второго этажа, выступавшего над первым, – единственное укрытие среди раскалённого белого камня. Двухэтажные старые дома выходили в переулок глухими стенами и ведущими во внутренние дворы деревянными дверями в круглых железных бляхах. Напротив Олега торчало из бугристого асфальта засохшее дерево без листьев, выглядевшее на фоне стены чёрной ветвящейся трещиной в кладке. Под деревом валялся стоптанный ботинок, в пяти шагах стоял трёхколёсный велосипед без руля и колёс, дальше, у стены, смятая пивная банка – не вещи, а останки вещей, обглоданные светом, брошенные здесь наедине со своими тенями: мир, высвеченный до дна, в котором некуда спрятаться. Козопас возник у входа в переулок и остановился в задумчивости, со сжатыми в позолоченную гримасу морщинами на обрюзгшем лице. Он стоял, наверное, с минуту, показавшуюся Олегу бесконечной, точно свет, достигнув яркости фотовспышки, превратил это невыносимо растянувшееся мгновение в моментальный снимок, застывший навсегда. Но даже поднимавшийся страх оста-

вался на этом пекле вялым, недопроявленным. Наконец пастух кивнул (похоже, у него была привычка разговаривать с самим собой) и, не зайдя в переулок, тронулся дальше по улице.

Печигин ещё около часа бродил по переулкам Старого города, слишком узким в этой его части для транспорта, натываясь то на стайки детей, прекращавших при его приближении стучать мячом (видно, иностранцы заходили сюда нечасто), то на нищих на перекрёстках, протягивавших к нему коричневые руки. Нищие выглядели такими старыми, точно были одного возраста с окружавшими их щербатыми камнями. Несколько раз ему попадались сломанные автоматы для газированной воды, стоявшие здесь, очевидно, с советских времён, но до того обшарпанные, что смотрелись едва ли не ровесниками запертых и полуразрушенных средневековых мечетей. Всё в этих мёртвых от жары кварталах казалось бесконечно древним, только полуголые дети играли в свои игры, не подозревая об усталости и истощенности этого мира. Скоро Печигин заблудился, и ему пришлось дважды спрашивать дорогу, прежде чем удалось выйти на улицу, ведущую к дому. Ориентиром в лабиринте пыльных переулков ему служила рука Народного Вожатого с голубем на ладони, возносившаяся над крышами и видная почти отовсюду. Когда Олег добрался наконец до дома, козопас уже сидел под тутовником и даже не посмотрел в его сторону.

На вечер Олег был приглашён к Касымову. Тимур предлагал прислать за ним своего водителя, но Печигин сказал, что доберётся сам – до дома Тимура был прямой автобус. Он уже стоял на остановке, когда подошёл Олег, все сиденья были заняты. Водитель куда-то отлучился, а пассажиров всё прибывало. Печигин вошёл и скоро был плотно сжат спереди и сзади, а в салон упорно и молчаливо лезли всё новые люди. Коштыры терпеливо уминались и тихо потели, никто не ругался и не жаловался. Смуглые, тускло освечивающие лица, готовые терпеть тесноту столько, сколько понадобится, окружали Олега со всех сторон. В левый бок ему упиралась полная, жгуче черноволосая женщина в малиновом халате с громадными розами, он ощущал рёбрами удары её тяжёлого сердца, бывшего в него глухим ватным тараном. С другой стороны налегал мужчина с наголо стриженной головой, похожей на литой снаряд, – так мало места занимали на его длинном лице мелкие черты. Пытаясь повернуться, Печигин въехал ему локтем куда-то в ёкнувшую мякоть, извинился, тот мутно взглянул на Олега сквозь заливавший глаза пот и что-то произнёс по-коштырски. Вместо Печигина ему ответила женщина в малиновом халате, и между ними через голову Олега завязался разговор, Печигин был уверен, что о нём. Хотя на улицах изредка встречались русские лица, в автобусе он был единственным не коштыром: это был крайний предел его погружения в чужеродную среду, и давление, которое он испытывал, казалось силой, с какой среда его вытесняла. И, как идущий на глубину водолаз слышит в скафандре лишь собственное гулкое дыхание, так и он был оглушён своей чужестыю, то есть самим собой, своим отличием от коштыров, ощущавшимся тем острее, чем сильнее они его сжимали. Ему представилось, что все до одного пассажиры обращают на него внимание, только виду не подадут, и каждый спрашивает себя, что он здесь делает. Наконец появился водитель, включил музыку – высокий мужской голос принялся выводить жалобные рулады, – и автобус тронулся. Когда отъехали от остановки, Олег заметил за углом дома сидевшего в тени на корточках козопаса. Провожая взглядом автобус, он разговаривал по мобильному телефону.

Дверь Печигину открыла женщина в джинсах и безрукавке, выглядевшая совсем молодо, если не замечать её усталых глаз. Но Олег заметил сразу – это было первое, что отличало её от той Зины, жены Тимура, которую он знал в Москве и последний раз видел лет восемь назад. Тогда они успели стать почти друзьями – с ней было легче, чем с Касымовым, она была ровной, открытой, за её словами не сквозила постоянная ирония, ей было легко доверять. Она поступила в аспирантуру МГУ и совсем не хотела уезжать в Коштырбастан, не разделяя Тимурова энтузиазма по поводу президента Гулимова и ждущего страну грандиозного будущего.

Но слово мужа – закон, и вот она здесь, мать двоих уже в Коштырбастане родившихся детей, хозяйка большого дома; Москва, сказала Зина, город, где она выросла, ей больше даже не снится.

– А прежде снилась?

– Долго. Но знаешь, когда ты тут из года в год, остальной мир не то чтобы вовсе перестаёт существовать, но как-то... совсем становится далёким. Мы здесь очень отдельно живём. Раньше меня ещё тянуло посмотреть, что у вас там нового, – муж ведь часто ездит, рассказывает, – но сперва дети не отпускали, а теперь уже и не тянет.

– Совсем?

– Почти...

Она улыбнулась. Печигин не ожидал, что будет так рад её видеть. Боялся, что едва узнает. И как только эти женщины ухитряются проходить сквозь годы, не меняясь? Наверное, надо было погрузиться в чужую и незнакомую жизнь Коштырбастана, чтобы встреча здесь – словно по ту сторону времени – с оставшимся прежним человеком из прошлого так обрадовала. Тимур задерживается в редакции, сказала Зина, будет через полчаса-час. Предложила кофе. Олег отказался: пить кофе в такое пекло?! (Хотя в затемнённой комнате было не жарко.) Нет уж, спасибо.

– Разве это пекло? Вот через месяц, в июне, будет настоящая жара, – она вздохнула и посмотрела в сторону окна, прищурившись, точно пробивавшийся между шторами свет причинял глазам боль. – А сейчас для нас ещё прохлада.

Сказав, что плохо спала ночью, Зина заварила кофе себе, а Печигину достала из холодильника минеральную воду, кинула в неё лёд. Потом села, словно эти несколько движений её утомили, положила на стол перед собой свою тонкую тёмную руку. Раньше в ней этой усталости не было. И ещё изменился рот: губы сжались в узкую линию, не раскрываясь даже при улыбке, как будто она привыкла молчать целыми днями.

Выпив кофе, Зина встала, чтобы показать Олегу дом. Они пошли через вереницу затемнённых комнат, расположенных, как и в доме референта министра, где жил Печигин, вокруг внутреннего двора. По стенам было много ковров, кишевших растительными или геометрическими орнаментами, глухо тлевшими в полумраке огнём своих горячих красок. «Это текинский... – пояснила Зина тусклым голосом музейного экскурсовода, – это эрсари... солар... ходжари...» На коврах висело старое оружие, музыкальные инструменты, в лучах света роились цветные ворсинки. Зина провела на ходу пальцем по дутару, показала, сколько собрала пыли.

– Здесь повсюду пыль, как с ней ни борись...

Безнадёжная борьба с пылью отнимала, похоже, большую часть её сил. Весь этот антиквариат был для неё лишь скопищем напрасно пылившейся рухляди.

– Это Тимур всё покупает, да ещё дарят ему. У нас это принято. Скоро совсем девать будет некуда.

В его большом кабинете книжные полки громоздились до потолка, но на столе ни клочка бумаги, ни следа того, что хозяин здесь бывает.

– Он же на службе с утра до вечера, – объяснила Зина. – А дома работает по ночам в своей спальне. Но туда лучше не заходить.

– Может, хоть заглянем?

Она приоткрыла дверь в комнату, большую часть которой занимала огромная расстеленная кровать, заваленная книгами, листами бумаги, газетами, журналами. Там же, среди складок шёлкового одеяла, были тарелки с остатками пищи, чашки, стаканы, заткнутая пробкой бутылка вина.

– Представляешь, он никому не даёт здесь убираться! Тут у него свой какой-то порядок, к которому мы, женщины, не должны прикасаться. Однажды Лейла по наивности здесь при-

брала, так он её чуть не убил! Орал, как ненормальный, швырял в нас всем, что под руку подворачивалось. И мне тоже досталось, я оказалась виновата, что её не предупредила.

– Лейла – это домработница?

– Лейла – это наша младшенькая, как я её называю. Он что, не говорил тебе, что взял молодую жену?

Печигин изумлённо покачал головой: если б Тимур упомянул об этом, он не мог бы пропустить такого мимо ушей.

– Она хорошая девочка, мы с ней ладим. Скоро Тимур её с английских курсов привезёт – он за ней по пути с работы заезжает, – познакомишься. Ей, кстати, твои стихи очень понравились. А вот её комната.

Зина открыла дверь. Со стен на них глядели большие плакаты коштырских эстрадных певцов с приторными леденцами вместо глаз.

– Что ты хочешь, ей же ещё восемнадцати нет. Наверное, думаешь, как я отнеслась к тому, что Тимур ещё раз женился? У нас это обычное дело. У многих людей его уровня не две, а три, бывает, что и четыре жены. Конечно, я думала, что у нас с ним будет всё по-другому. Но мало ли что я думала... Пусть лучше так, чем любовницы...

Зина говорила это, не глядя на Олега, отвернувшись к окну. Полоса света легла наискось на её смуглое лицо.

– Ты работаешь?

– Нет, – она пожала плечами. – Зачем? Тимур хорошо получает. Вполне достаточно.

– Мне казалось, для тебя это важно. Ты же хотела заниматься наукой...

– Никому тут моя наука не нужна. Институт давно закрыли, сотрудники занимаются кто чем. Кто уехал, кто на рынке торгует... Да что наука... У меня вообще часто бывает чувство, что ничего, кроме Народного Вожатого, не имеет тут значения.

Окно, у которого они стояли, выходило на площадку перед домом, и они видели, как подъехала машина Тимура. Водитель открыл дверь сначала Касымову, потом молодой женщине в голубом платье с блёстками. Она распрямилась, разминая тело, вытянула вверх руки, и Тимур, смеясь, обнял её и уткнулся лицом в открывшуюся подмышку. Не прекращая обниматься, они пошли к двери.

– Никакого значения... – повторила Зина устало. – Знаешь, сколько тут во время войны погибло? Чуть не четверть населения. Но никто в мире об этом не знает и не помнит. Для внешнего мира нас как будто бы и нет...

Раздался длинный и радостный звонок в дверь, потом второй, нетерпеливый.

– Идём открывать?

– Прислуга есть, откроет. Да, ещё хотела тебе сказать: не называй меня при муже Зиной. Меня ведь Зейнаб зовут, это я в Москве себе имя на русский лад переделала. Уже давным-давно никто меня так не звал.

В платье с блёстками, с массой цепочек, колец и браслетов, Лейла выглядела как актриса из индийского кино. Из болливудских фильмов брала она, похоже, и свои жесты, и манеру широко распахивать и прищуривать глаза. Когда Лейла говорила (а делала она это много и охотно, несмотря на неодобрительные взгляды Зейнаб, по-детски радуясь тому, что находится в центре внимания и может заставить себя слушать), казалось, она вот-вот запоёт и тут же пустится в пляс. Зейнаб относилась к ней снисходительно, с покровительственным материнским терпением, Тимур открыто и счастливо любовался, а Печигин удивлялся про себя, как может не раздражать его этот инфантильный и слащавый театр; впрочем, он же всегда без меры любил сладкое (вспомнились козинаки и рахат-лукум в карманах школьной формы Касымова, его вечно липкие от сладостей пальцы).

Прислуга – стеснительная женщина лет пятидесяти с большими руками, которые она, когда не работала, не знала, куда деть, и они неловко висели вдоль тела, – привела с улицы детей: семилетнего мальчика и совсем маленькую девочку (Зейнаб сказала Олегу, что ей нет четырёх), заворожённо не спускавшую с Печигина глаз. Дети по-русски почти не говорили, знали только отдельные слова, по просьбе отца мальчик, не глядя на Олега, пробормотал себе под нос: «Тра-твуй-те».

Ужинать сели не в «европейской» гостиной со столом и стульями, а в соседней комнате, на курпачах вокруг дастархана. Прежде чем принесли еду, Тимур вышел переодеться, и, пока его не было, Лейла решила высказать Печигину своё восхищение его стихами.

– Неужели вы это всё сами написали! Просто невероятно!

Она даже попыталась что-то процитировать, но, конечно, забыла. Морщила лоб, вспоминая, расстроено оттопыривала нижнюю губу – при этом в ней была неколебимая уверенность, что какую бы глупость она ни лягнула, всё равно это не может не нравиться. Но Олег не спешил прийти ей на помощь (он и сам плохо помнил свои давние стихи), и ей оставалось только улыбаться и сиять глазами, чувствуя, что её обаяние даёт сбой. Казалось, она могла по необходимости прибавлять или уменьшать это сияние, как свет в лампе с реле. Заполняя паузу, оно быстро приближалось к многозначительному, почти уже неприличному максимуму, когда вернулся Касымов в зелёном, расшитом серебром халате.

– Нравится? – Он продемонстрировал Олегу тонкость шитья. – Помнишь мою коллекцию английских клубных блейзеров и прочего в таком духе? Теперь всё это давно на свалке. Теперь у меня собрание настоящих чапанов на три шкафа! А ещё тибетейки есть – со всей Средней Азии!

Прислуга внесла плов с зирой и барбарисом, лепёшки, зелень, воду для рук и отдельно мясо, которое Касымов сам, как полагается хозяину, накрошил в тарелку гостя. Он явно придавал значение тому, чтобы всё было «как полагается». И скоро то, что на первый взгляд представлялось Печигину этнографическим маскарадом, стало вполне естественным: обстановка, выглядевшая до прихода Тимура довольно музейной, с его появлением обнаружила полное соответствие владельцу, а сам он гораздо лучше смотрелся разлёгшимся в чапане на курпачах, чем с ноутбуком на коленях. И что может быть естественнее, чем две жены по сторонам поднимающего полную пиалу коньяка мужа?!

Такие с виду разные – сдержанная, умная Зейнаб и болтливая Лейла, – они постепенно обнаруживали, на взгляд Печигина, несомненное сходство. Оно проявлялось, например, в том, как аккуратно, словно демонстрируя хорошее воспитание, обе ели, тщательно вытирали губы, мыли пальцы в чашке с розовыми лепестками. Возникало ли это сходство из того, что обе принадлежали одному мужчине, или просто Лейла, когда ей не хватало образцов из индийских фильмов, подражала старшей жене, Печигин решить не мог. Но и в Зейнаб рядом с Лейлой открывались черты, которых в Москве Олег за ней не замечал: властное настаивание на своём, видное даже без слов, в одних жестах, вкус к украшениям. В Москве она одевалась очень просто, а здесь, выйдя перед ужином к себе, вернулась в вечернем платье, увешанная цепочками и браслетами ещё больше, чем Лейла, с брошью на груди, рубин в которой (если только это был рубин – Печигин плохо разбирался в драгоценных камнях) отливал таким же тёмным винным цветом, что и камень в перстне на безымянном Касимова. Хотела показать Олегу, что муж ей не пренебрегает и дарит не меньше, чем новой жене? Когда Тимур принялся по третьему разу разливать коньяк себе и Печигину, Зейнаб решительно пододвинула свою пиалу (до этого женщины спиртного не пили). Касымов вопросительно взглянул на неё, она кивнула, и он без слов налил доверху.

– И мне! И мне! – немедленно потребовала Лейла.

Касымов возмущился было, но вынужден был сдаться и плеснуть коньяка ей тоже.



– Ничего не поделаешь, – сказал он Олегу. – Всё должно быть поровну. Справедливость – весы Аллаха на земле.

Прислуга спросила, какой заваривать чай, и Касымов принялся перечислять сорта чая, предоставляя выбор Олегу: с имбирем, шафраном, мятой, корицей, кардамоном... Печигин сказал, что ему всё равно.

– Как это «всё равно?» Тебе безразлично, какой пить чай? Что тогда тебе не безразлично? – преувеличенно удивился Тимур. – Это у вас там, в России, всё равно: водки дерябнул – и вперёд, к победе коммунизма. Или капитализма, не имеет значения. Главное, вперёд – мимо жизни, мимо её вкуса, её запаха, её...

Подняв руку, он пошевелил пальцами (кроме безымянного, перстень с камнем был ещё и на указательном), как будто нащупывая ускользящую, растворяющуюся в воздухе невидимую субстанцию жизни.

– Ведь в основе своей жизнь – это наслаждение. Нужно только достигнуть этой чистой основы и не дать загрязнить её лишними словами, бесполезными мыслями и никчёмными идеями... Посмотри на эти ковры – в рисунке каждого простой орнамент, несколько основных элементов, повторяющихся снова и снова. Орнамент – это искусство повторения, а повторение – искусство наслаждения. Самое подлинное удовольствие мы получаем от возвращения – вкуса, запаха, мелодии, воспоминания. Первая встреча сама по себе ещё ничто, лишь повторение дает возможность вникнуть, распробовать, войти во вкус...

Говоря, Касымов левой рукой гладил волосы Зейнаб, а правая целиком накрывала маленькую ладонь Лейлы.

– Орнамент лежит в основе жизни, созданной для наслаждения, из века в век повторяющей одни и те же узоры. И только однажды в несколько веков, может быть, раз в тысячелетие приходит человек, родившийся для того, чтобы заменить старые, стёршиеся узоры новыми. Раз в тысячелетие – а не так, как на Западе, где это норовит сделать едва не каждый! Поэтому и основа жизни там забыта, замусорена, завалена хламом слов и идей, а сама жизнь давно никому не в радость!

Касымов потянулся за полотенцем, заменявшим салфетки, и Зейнаб тут же – с неожиданной для Олега поспешностью – вложила полотенце ему в руку, точно только и ждала, когда он изъявит какое-нибудь желание, чтобы первой его исполнить. Тимур вытер рот, но улыбка, с которой он благодарил Зейнаб за плов (по случаю гостя готовила не прислуга, а она сама), всё равно получилась масляной, лоснящейся.

– Этот раз в тысячелетие рождающийся человек, конечно, президент Гулимов?

Тимур не стал отвечать Печигину. Вместо ответа он попросил сына снять со стены дутар и начал перебирать струны.

– Это моя любимая песня на его стихи. Сейчас попробую перевести. Может, тогда ты поймёшь...

Он задумался, отпил ещё коньяка, снова старательно вытер губы, словно затем, чтобы не произносить слова Народного Вожатого жирным ртом.

Звёзды, не бойтесь, приблизьтесь.  
Я знаю, как вам одиноко.  
Как холодно в вашем глухом и пустынном  
космосе. Я вижу вашу зябкую дрожь  
на сквозняках, задувающих из чёрных дыр,  
на ледяных галактических ветрах,  
бросающих вам в глаза пыль метеоров,  
прах умерших планет, пепел сгоревших миров.  
Я слышу, как воют в ушах эти громадные ветры,

шевели мои волосы, донося  
до меня вместе с гулом бездонных пространств  
слабый хор ваших голосов, разнородных,  
невнятных,  
и всё-таки я различаю в нём ваши жалобы, ваш  
плач о неизбежном конце. В вашем космосе всё  
неизбежно.  
Лишь я, человек, вношу дыхание свободы. Но оно  
вас не достигает.  
Я хотел бы согреть вас, подышав на вас так, как я дую  
на замёрзшие пальцы. Но вы чересчур далеко,  
на верхушках мачт мироздания,  
на вантах и реях флотилии ночи, идущей ко дну  
в узком проливе рассвета.  
Особенно ближе к утру, в тусклых сумерках, мне  
понятен  
ваш страх перед смертью. Я в точности знаю,  
как вам предстоит умирать: пропадая  
за горизонтом событий, на прощание  
вспыхнув сверхновой, потом превратиться  
в дрожащего белого карлика, кутающегося  
в складках  
негреющей чёрной материи, дырявой,  
как рубище каландара. И дальше темнеть и сжиматься  
до чёрного карлика, чтобы пропасть  
окончательно, без следа и без памяти,  
без детей и цветов на могиле.  
Астрономам всё это известно наперёд, но они  
ничем не могут помочь вам. Приходите  
ко мне – ты, Вега, ты, Сириус, ты, Альфа Центавра,  
ты, Бетельгейзе!  
Я дам вам тёплые бухарские халаты и носки из  
верблюжьей шерсти,  
напою вас имбирным чаем с алычовым вареньем,  
и с кизилковым вареньем, и с вареньем из лепестков  
роз...  
А может быть, водки? Согревает отлично.  
Или там у вас в космосе предпочитают коньяк?  
А ещё есть у меня настойки на травах. И полезно,  
и вкусно,  
обжигает гортань, в животе разводит  
небольшой и приятный костёр. Мы возляжем  
на курпачах, дастархан будет плотно уставлен.  
И, согревшись, мы поговорим. Я расскажу вам  
о своих заботах – у меня их хватает. А вы мне  
поведаете  
разноцветные повести ваших космических жизней,  
галактические илиады и одиссеи.  
Обещаю вам выслушать всё до конца со вниманием.

Закончив переводить, Касымов прокашлялся и запел. Он и в Москве нередко пел под гитару, но сейчас его голос, выводивший под дутар незнакомые Печигину коштырские слова, звучал иначе – выше и тоньше, явно на пределе своих скромных возможностей, то и дело грозя сорваться. Тимур закрыл глаза, его лоснящееся лицо было обращено кверху, точно, забыв о слушателях, он мысленно блуждал в тех космических далях, о которых рассказывали стихи. Неожиданно Печигин почувствовал прикосновение к ноге. Сначала ему показалось, что Лейла задела его голень случайно, но она второй раз, чтобы не оставалось сомнений, провела по ней своей ногой в чёрном чулке. Не хотела примириться с тем, что Олег остался глух к её обаянию? В каком индийском фильме она это видела? И тут же Печигин заметил, как, не переставая парить голосом в межзвёздных пространствах, Касымов приоткрыл один глаз и покосился на него и молодую жену. Закрыл снова.

– Между прочим, – сказал он после того, как извлёк из дутара последний тающий звук, – стихотворение, ставшее этой песней, легло в основу национальной программы астрофизических исследований!

Женщины опустили глаза, проникаясь значением сказанного, а дочь Тимура, воспользовавшись тем, что на неё не смотрят, зачерпнула и быстро отправила в рот полную ложку варенья из алычи.

После ужина, когда Печигин с Касымовым перешли в курительную и остались вдвоём, Олег рассказал Тимуру про следившего за ним козопаса.

– Может, показалось? – усомнился Тимур. – Я, во всяком случае, не просил никого к тебе приставлять. Нужно будет проверить. Разберёмся...

Он задумался, откинувшись на одном из стоявших вдоль стен диванов, Печигин расположился на соседнем, столик с коньяком и пиалами – между ними. Касымов спросил, как понравился дом, где Олег остановился, – не жарко ли там? Не шумно? А как ему Динара? Чудесная девушка, правда? Печигин ответил, что всё замечательно, дом прохладный и тихий, а Динара – выше всяких похвал.

– Может, тогда останешься у нас, а? – Тимур оторвал взгляд от отражения лампы на поверхности коньяка в своей пиале, посмотрел на Олега. – Почему бы тебе здесь не остаться? Дом будет твоим. И не только дом. Книги станут одна за другой выходить.

– Зачем тебе это? – удивился Печигин.

– Захочешь, передачу тебе дадим на телевидении. Вся страна о тебе узнает, даже те, кто стихов отродясь не читали. Можем улицу твоим именем назвать. Запросто. Ничего нет невозможного. Будешь жить на улице своего имени – неплохо, а? Только представь: ученики, поклонники... Жён, опять же, можно до четырёх штук иметь...

– Тебе-то это зачем? Тебе ж никогда мои стихи не нравились!

– Нравились, не нравились – какая разница! Разве я о себе забочусь?! Я о тебе пекусь – и о своей стране. Это был бы политически значимый выбор! Мы показали бы всему миру, что поэты уезжают из капиталистической России, где нет места поэзии, в Коштырбастан, идущий своим, особым путём между Сциллой капитализма и Харибдой фундаментализма! У нас поэтам и художникам не приходится, как в капстранах, угождать вкусам толпы, напротив, они ведут её за собой! Они не иждивенцы общества, паразитирующие на низкопробных запросах публики, а его элита, под руководством Народного Вожатого ведущая страну к процветанию!

«Похоже, он выпил лишнего, – подумал Печигин. – Или это привычка выступать по телевизору и строчить передовицы заставляет его говорить лозунгами?» Но он и сам чувствовал себя порядочно захмелевшим, и хотя мысль остаться в Коштырбастане навсегда казалась совершенно невозможной, но ещё одна-две пиалушки коньяка, и он, пожалуй, готов будет признать, что собственный дом – это не так уж плохо, и да, ему не хватает читателей, и поклон-

ницы, глядящие на него такими же сияющими глазами, как Лейла, ему тоже нужны. Может, тогда давно уже переставшие писаться стихи пойдут снова...

– Как же поэты и художники могут вести за собой общество, если каждый из них наверняка будет тянуть в свою сторону? Это же лебедь, рак и щука получатся...

– В том то и дело, что наш всенародно – заметь! – избранный президент прежде всего великий поэт. Будь он просто политиком, он стремился бы подмять всё под себя, а так – у нас цветут все цветы! И деятели всяческих искусств следуют за Народным Вожатым не по принуждению, а потому, что он открыл для них новые пути и распахнул горизонты. А за ними идут массы, народ! Нет, ты пока ещё мало что у нас понял. Ты не спеши мне отвечать, сначала оглядись как следует. Уверен, когда ты встретишься с Гулимовым, это многое для тебя изменит. Я ведь уже говорил с двоюродным братом Зейнаб.

– Это который в его охране служит? И что он тебе сказал?

– Сказал, что согласен дать мне знать, когда президент соберётся на прогулку по городу. Так что готовься к встрече, копи вопросы. Ни для кого ещё встреча с ним бесследно не проходила. И то, что я тебе предложил, обдумывай – время пока есть. Главное, первый шаг уже сделан...

– Что ты имеешь в виду?

– То, что ты здесь, переводишь его стихи. А он сам всегда говорил: «Нельзя останавливаться на полпути!» Это я лично от него слышал. Я тебе не рассказывал?

Касымов только трижды разговаривал с Народным Вожатым лицом к лицу и каждую из этих встреч не раз описывал Печигину во время своих приездов в Москву, но, видимо, они значили для него так много, что стоило ему как следует выпить, и он возвращался к ним опять и опять. При этом они обрастали всё новыми подробностями, а немногие фразы, сказанные президентом, – комментариями, открывавшими в них всё более глубокие смыслы: «У каждого наби, то есть пророка, был свой вали – толкователь скрытых смыслов пророчества, посредник между ним и обычными людьми, которые сами ничего понять не способны», – объяснил Тимур свою тягу к постоянному переосмыслению слов Гулимова. Эту роль толкователя он отводил, судя по всему, себе. Первый раз он беседовал с президентом, когда решалась судьба главного редактора центральной газеты, допустившего несколько ошибочных публикаций. «Народный Вожатый стоял у окна, – рассказывал Касымов, – потом подошёл к столу, открыл ящик и достал коробочку рахат-лукума. Пока я говорил, характеризуя проштрафившегося редактора, он вынул кусок лукума и принялся жевать. Сначала за левой щекой, потом за правой. Потом снова за левой. Опять за правой. И я почувствовал, что с трудом могу продолжать из-за подступивших слёз! Я ожидал всего что угодно: что он испепелит меня своим гневом (Тимур работал тогда в той же газете, часть ответственности могла быть возложена и на него), что растворится у меня на глазах в воздухе и возникнет вновь, – но не того, что он вот так просто, как самый обыкновенный человек, как ты и я, будет есть рахат-лукум... Это меня едва не до слёз растрогало! А он как ни в чём не бывало пододвигает мне коробочку и предлагает угощаться. Это было уже слишком! Я не смог... Отказался. И до сих пор жалею! Может, это не просто лукум был?! Кто знает... Во всяком случае, после той встречи несколько лет мучившие меня боли в пояснице прошли – как рукой сняло!» – «А что с редактором?» – «Я предлагал перевести его из главного в замы, но тогда Народный Вожатый и сказал: “Нельзя останавливаться на полпути!” И его совсем уволили. С тех пор никто его не видел...»

Во время второй встречи Касымов имел возможность наблюдать президента за работой. Он просматривал и подписывал документы, разложенные перед ним на трёх столах, переходя от одного к другому, при этом диктовал сидевшей за четвёртым секретарше тезисы своего выступления в Совете министров, говорил по телефону и ещё что-то искал в кабинете, заглядывая под столы и за занавески. Тимур знал о способности Народного Вожатого заниматься несколькими делами одновременно, поэтому, не удивившись, попросил разрешения присту-

пить к докладу, ради которого был вызван (о ситуации на одном из телеканалов). Гулимов сказал: «Слушаю вас», и Тимур начал докладывать, но неожиданно был прерван: «Ума не приложу, куда запропастилась моя чесалка! Вас не затруднит немного почесать мне спину? Чешется невыносимо!» И Касымов, благоговей и едва дыша, несколько минут чесал президентскую спину, подчиняясь указаниям Народного Вожатого: «Немного повыше... так, теперь пониже... очень хорошо... ещё немного... замечательно, блаженство! Благодарю вас». Наконец секретарша заметила чесалку – деревянную палочку с грабелями на конце – в вазе с розами. Очевидно, президент использовал её, чтобы поменять местами в букете усеянные шипами цветы, и забыл. Она простояла там не больше получаса, но на ней уже успела образоваться завязь розового цветка, которую Народный Вожатый продемонстрировал Касымову. Вообще же цветы в помещениях, где он жил или работал, – Тимур знал это со слов обслуживающего персонала – не вяли по полгода, а некоторые и больше.

Наконец, в третий раз он общался с Гулимовым во время его визита в Индию, одной из последних поездок Народного Вожатого за границу. Тимур был в составе сопровождавшей президента делегации. График визита был расписан очень плотно, но Гулимов настоял, чтобы в него было включено посещение зоопарка в Дели – единственного на земле места, где содержался белый тигр, которого Народный Вожатый непременно хотел увидеть. Он всегда был равнодушен к редким животным: зоопарк Коштырбастана, находившийся под эгидой президента, был одним из самых богатых в Азии – но белого тигра там не было. Переговоры в Дели, однако, пошли не так, как было намечено, график пришлось менять, и зоопарк из него выпал. Тогда Гулимов отправил на заключительный (и решающий) раунд переговоров вместо себя одного из министров, а сам в сопровождении нескольких человек, в число которых попал и Тимур, пустился на поиски белого тигра. Найти его оказалось непросто: зоопарк в Дели огромный, один из самых больших в мире. Народный Вожатый явился туда без предупреждения, как обычный посетитель (об этом никто так и не узнал, история не попала ни в газеты, ни на телевидение). Наконец, уже в сумерках вышли к ангару, где содержались белые тигры, заплатили дополнительную плату за вход. Внутри было три вольера, в каждом по огромной белой кошке. В воздухе стоял острый звериный дух и запах сырого мяса. Завидев посетителей, один из тигров на мягких лапах двинулся им навстречу. «Как тебе его описать? – рассказывал Касымов Олегу. – Представь себе дыру в нашем мире, вырезанную в форме громадной кошки! И эта дыра приближается к тебе! Ужас тут не в пасти, не в клыках и даже не в совершенно неподвижных голубых глазах, а в этой нездешней белизне – точно это вообще не тигр, а какое-то существо из другой галактики, которое, сожрав тебя, даже не поймёт, что слопало венец творения. Сразу ясно, что человек для него то же, что для нас, скажем, курица, – просто пища». Гулимов при виде тигров просиял. «Киса... большая киса... – бормотал он, улыбаясь, и подходил к клетке. – Хорошая киса... Смотри мне в глаза». Тигр занервничал и издал рык, прокатившийся из конца в конец ангара. Под крышей сорвались с места и заметались, застывая свет, мелкие чёрные птицы. Народный Вожатый подошёл вплотную к ограждению перед клетками: «Гляди на меня, киса... На меня, я сказал!» Тигр сделал несколько беспокойных кругов, не спуская с Гулимова голубых глаз инопланетянина, затем остановился и медленно разинул пасть. Но из неё не раздалось ни звука. Это был долгий зевок, отдавшийся крупной дрожью во всём тигрином теле. Потом ещё один и ещё... Птицы, словно испуганные этой вырывающейся из пасти тишиной больше, чем рычаньем, закричали громче. «Так, молодец, – сказал Гулимов. – А теперь лежать!» Тигр, заурчав, плавно опустился на живот, глаза его подёрнулись тусклым льдом, и только хвост, проявляя остатки неповиновения, вяло ударял по полу клетки. Тогда Народный Вожатый перелез через ограждение (кинувшегося останавливать его работника зоопарка удержали двое из президентской охраны), подошёл к клетке и, просунув руку между прутьями, стал гладить по голове с отрешённой тоской смотревшего зверя: «Добрая киса... послушная киса...»

Истории эти Олег слышал от Касымова не раз и не два и давно знал, что если после первой у него прошли боли в пояснице, то после второй Зейнаб избавилась (похоже, не до конца) от тяжёлой депрессии, а после третьей забеременела дочерью (прежде не получалось). Выслушивать всё это по новой Печигину не хотелось, и, когда Тимур пустился в детали чесания спины Гулимова и своих переживаний по этому поводу («Я прикоснулся к телу власти! К её живому человекообразному сгустку! Это было ни на что не похоже! Меня как будто током дёрнуло! И мурашки, мурашки от головы до пят!»), Олег прервал его вопросом:

– Скажи, а что бы ты сделал, если б твоя жена тебе изменила?

– Ерунда, такого не может быть, – отмахнулся Тимур, – коштырские женщины не изменяют. Кокетничать они могут, это они любят, но чтобы на самом деле... Нет, у нас такого не бывает.

– Неужели ни одна ни разу?!

– Ну не знаю... Если б такое случилось со мной... То есть с Зейнаб или с Лейлой... – Он задумался, ухмыльнулся, искоса взглянув на Печигина. – Не хотел бы я оказаться на месте того, с кем она мне изменит!

Видел он или нет, как Лейла коснулась ногой Олега? Похоже, заметил. Тимур сделал большой глоток из пиалы и удовлетворённо провёл ладонью вниз по груди по мере распространения коньячного тепла.

– Её бы я, может, и пожалел – что с бабы взять? Просто убил бы, чтоб долго не возиться. А вот с ним поговорил бы всерьёз... У меня под домом звуконепроницаемый подвал – там много чего интересного можно попробовать. Например, накормить до отвала недоваренным рисом, который, набухая, постепенно разрывает желудок. Или другой хороший рецепт – беляши с живыми муравьями. Выбравшись в животе наружу, они начнут грызть его изнутри. А ещё у меня в библиотеке есть описание старинного станка для удавления, растягивающего это удовольствие часа на два, – верёвка, обмотанная вокруг шеи, не спеша накручивается на валики... Или такой элегантный способ: медленное выжигание глаз лимонным соком. Голова закрепляется в тиски, веки растягиваются специальными крючками наподобие рыболовных, и аккуратно из пипетки капается сок. Сначала в один глаз, потом в другой...

Дверь открылась, и в комнату зашёл мальчик с тетрадью – сын Касымова. Заметно стесняясь гостя, подошёл к отцу, раскрыл тетрадь, что-то забормотал.

– Ну вот, изволь делать домашнее задание. А мать на что? Спать легла? Ну ладно, давай сюда... – Касымов положил руку на узкие плечи сына, привлёк его к себе, притиснул к животу. Он был занят решением задачи, когда дверь приотворилась снова.

– А это кто к нам пожаловал?!

Голос Тимура изобразил грозное удивление. На пороге в ночной рубашке, переминаясь с одной босой ноги на другую и шуря от света выпуклые чёрные глаза, стояла его дочь. Зейнаб уже уложила девочку, но ей, видимо, было так интересно, что происходит в комнате, где отец сидит с незнакомым гостем, не похожим на всех, кого она прежде видела (а видела она одних коштыров), что, когда туда пошёл брат, она не смогла совладать с любопытством и отправилась следом. Она, конечно, знала, что должна быть в постели, но увлеклась, забыла об осторожности и сама себя выдала.

Касымов разразился гневной тирадой на коштырском. Девочка быстро заморгала и принялась теревить край ночной рубашки.

– Нет, чёрт, только не это! – успел выдохнуть Тимур, но она уже ревела вовсю, размазывая кулаками слёзы по щекам.

Тимур поднялся с дивана и, заметно шатаясь, тяжело подошёл к ней, на ходу достав из кармана халата деревянную птичку, открывавшую при нажатии на хвост клюв и издававшую пронзительное чириканье, похожее на скрип. Но все попытки отвлечь с её помощью

дочь ни к чему не привели. Тогда он извлёк из другого кармана шнурок, встряхнул его, и он встал стоймя. Девочка замолчала. Тимур победоносно рассмеялся, разорвал шнурок, убрал обрывки в карман и достал снова целым и невредимым. Но дочь, не поверив, взревела с новой силой. Касымов выругался по-русски, полез вглубь чапана, похоже, битком набитого всевозможным инструментарием для утешения ребенка, и вынул большую конфету. Девочка яростно её оттолкнула и отвернулась, продолжая рыдать.

– Ну что ты прикажешь делать?! – Касымов развёл руками, снова зарылся в халат, долго в нём копался и вытащил платок. Завязал его двойным узлом, сделал над ним несколько пассов, потянул за концы – узла как не бывало. Сжал платок в кулаке, разжал перед лицом дочери, и та уставилась в пустую потную ладонь. Тогда другой рукой Касымов достал платок из нагрудного кармана её ночной рубашки и вытер им её щёки и нос. Она наконец перестала рыдать и только трагически всхлипывала. Лишь теперь Олег заметил, как она похожа на отца.

Перед тем как уйти, она ещё сказала что-то напоследок сырым от слёз голосом, и Тимур перевёл для Печигина, что его дочь желает всем спокойной ночи. Следом за ней был выставлен сын. Касымов вытер вспотевший лоб, рассеянно развернул и отправил в рот отвергнутую дочерью конфету.

– Ох уж эти дети... Так о чём мы говорили? Ах да, о лимонном соке...

Тимур предлагал Печигину остаться ночевать, но Олег отказался. На обратном пути сошёл с автобуса за пару остановок до дома – пройтись, развеять хмель. Вокруг него шевелилась чёрными кронами, дышала сухим тёплым ветром коштырская ночь. Редкие фонари вырезали из беззвёздного неба силуэты деревьев, внутри которых сгущалась ещё более непроглядная тьма. Падая на прохожих, процеженный сквозь листву жёлтый свет выхватывал из темноты отдельные части людей – руку с блеснувшими часами у одного, половину лица другого, рубашку и галстук третьего, – двигавшиеся навстречу друг другу, как отдельные детали пазла, ищущие правильного соединения. Асфальт под ногами был разбит, из-за заборов раздавалось то мычание, то блеяние, и, если б не озарённые прожекторами многоэтажные стройки над крышами вдали, Олегу казалось бы, что он идёт по центральной улице деревни. В прорытых в густом мраке норах и нишах света, в возникавших на несколько секунд лучащихся тоннелях, проделанных фарами редких машин, ему удавалось иногда разглядеть поздних прохожих целиком, и тогда перед ним возникали то мужчина, забросивший под язык порцию насвая и сплёвывавший длинной сияющей слюной, то идущая взявшись за руки пара (молодые коштыры часто ходили, держась за руки), то сидевший на скамейке старик в слепо сверкнувших очках, положивший ладони на колени, как примерный школьник. Затем машина проезжала, и мгновенно сомкнувшаяся за ней тьма поглощала их всех вновь. Олегу вспомнились слова Зейнаб: «Для внешнего мира нас как будто бы и нет». (Когда он уходил, она уже легла спать, но, услышав голоса в прихожей, вышла его проводить, и Печигин увидел её лицо без косметики с голыми отчаянными глазами и серой неровной кожей. Олегу показалось, что она хотела что-то ещё ему сказать, но не решилась при Тимуре.) Ему тоже случалось чувствовать себя так, точно его нет для внешнего мира, – когда не отпускает сознание, что ничего из происходящего с тобой ни для кого и никогда не будет иметь значения, точно тебя заключили в непроницаемую прозрачную колбу для неизвестного нечеловеческого эксперимента, – и память об этом заставила его впервые испытать что-то вроде близости к коштырам, подобие родственного понимания их безнадежной заброшенности. Вот парикмахер в крошечной парикмахерской на одно место в ожидании поздних клиентов придиричиво изучает сразу в трёх зеркалах свою собственную причёску и устраняет блестящими ножницами лишь ему видимые недостатки. По одному взгляду на сияющее совершенство его шевелюры становится ясно, что ждёт он давно и напрасно. Вот, простегнув пыльный от света далёких фар полумрак белками кошачьих глаз, дорогу пересекла стайка подростков. «Если они решат меня ограбить, – без особого страха подумал Печигин, – а для верности пырнут ножом, никто меня в этой глуши не отыщет». Может, из такой забро-

шенности и возникает у народа сознание своей исключительности: «Раз миру нет до нас дела, то тем хуже для него – весь мир заблуждается, он отклонился от истинного пути, и только мы живём правильно». А это сознание рано или поздно порождает человека, в котором сможет воплотиться, кто станет его подтверждением, – Народного Вожатого. Он укажет стране её особый путь, непреклонный в прошлом, но едва не потерявшийся на бездорожье современности, объяснит цель и смысл эксперимента, замкнувшего Коштырбастан в лабораторной колбе отдельности, назовёт простыми и ясными словами то, что до него было только расплывчатым предчувствием. А если ему будет недосуг или, как и подобает истинному пророку, он предпочтёт лапидарности идеологических формул многозначность поэзии, найдётся такой человек, как Касымов, преданный комментатор и толкователь, который сделает это за него.

Придя домой, Печигин включил телевизор и попал на документальный фильм о каком-то коштырском не то изобретателе, не то Герое Труда, которого за достигнутые успехи награждал орденом сам Народный Вожатый. На экране президент был седым, тогда как на всех плакатах и лозунгах он представлял жгучим брюнетом. Судя по всему, награждение происходило достаточно давно: Олег помнил, как Тимур рассказывал ему, что Гулимов покрасил волосы лет пять назад – и за несколько дней шевелюра Народного Вожатого на всех его изображениях по всему Коштырбастану без всякого распоряжения свыше была закрашена чёрным. Если Печигину это казалось смешным, то для Касымова в этом было несомненное, пускай и наивное, выражение любви народа к своему вождю. Любовь хочет видеть свой объект вечно молодым, неподвластным времени. Когда президент сбрил отпущенную во время гражданской войны бороду, на улицах городов и кишлаков бороды почти исчезли, так что на тех, кто продолжал их носить, стали даже коситься с опаской, подозревая в фундаментализме. Когда через несколько лет Гулимов отпустил усы, точно такие же усы стали вырастать куда ни кинь взгляд – у каждого третьего коштыра. И в этом тоже, утверждал Касымов, была любовь, стремящаяся слиться со своим объектом, через внешнее сходство обрести его уверенность и силу.

Олег достал свою тетрадь и записал: «Есть два вида власти: власть принуждения и власть примера. Первая вынуждает к подчинению, вторая – к подражанию. Первая имеет в своём распоряжении правоту и силу, второй достаточно самой себя – личности, открытой вдохновению. Оружие первой – ясность, второй – тайна. Как бы высоко ни возвышалась над людьми первая власть, она всегда достигает их своими приказами, тогда как вторая, даже оказавшись совсем рядом, отделена непреодолимой дистанцией. Первая есть власть закона, вторая – власть нового, для которого закон ещё не написан. Первая ограничена своим временем и местом, вторая может распространяться через века и границы. Они соотносятся между собой как стихотворение, полное ускользающих метафор, и комментарий к нему, настаивающий на единственно верном прочтении. Первая власть всегда обращена к людям, тогда как второй часто бывает вовсе не до них. Возможно, временами она даже повёрнута к ним спиной, хотя они об этом и не подозревают...»

Олег отложил ручку, вслушался в тишину большого пустого дома. Она была такой гулкой, что мешала думать. Мысли возникали в ней, словно произнесённые внутренним голосом вслух, – и в тревожной чужой тишине этот голос вдруг показался Печигину незнакомым.

На следующий день Олег решил отправиться взглянуть на недавно построенную мечеть имени Рахматкула Гулимова – по словам Тимура, одно из самых грандиозных сооружений во всей Средней Азии. Касымов прислал за ним свою машину – он собирался и сам поехать с Олегом, чтобы всё ему показать, но на работе возникли непредвиденные обстоятельства. Водитель сказал, что Тимур просил сперва заехать к нему в редакцию: может, он всё-таки сумеет освободиться. Когда машина тронулась, Печигин оглянулся на расположившегося с утра в тени тутовника козопаса. Тот проводил машину взглядом и куда-то засобирался.



В редакции Олега встретила на входе секретарша, выглядевшая не намного старше Лейлы, но при этом такая серьёзная, что ни разу даже не взглянула ни на одно из своих отражений в зеркальных стенах лифта, поднимавшего их на восьмой этаж, где находился кабинет Тимура. Все её деловитые движения были полны сознанием ответственности, налагаемой на неё работой с таким человеком, как Касымов. Проводив Олега, она задержалась в кабинете, ожидая новых указаний. Она была невысокой, с длинными тёмными волосами и такими густыми бровями, что взгляд из-под них казался хмурым, даже требовательным. Печигин на секунду увидел Тимура её глазами: за заваленным газетами и журналами огромным столом, откинувшись в кресле и расстегнув ворот рубашки, сидел *государственный человек*. Человек, причастный истории. Пусть не тот самый главный, кто стоит у руля, но тот, кому известны направление движения, маршрут и конечная цель. За спиной Тимура в большом, от пола до потолка, окне виден был квартал Старого города с невысокими, не выше трёх этажей, серо-коричневыми домами, разделёнными переулками, полными муравьиного копошения едва различимых с высоты прохожих. Массивная, слитая с креслом фигура Тимура возвышалась над этим пыльным хаотическим копошением, вырастала из него, равнодушно повернувшись к нему спиной. Любой журнал на его столе казался важнее однообразной человеческой суеты внизу, от которой ровно ничего не зависело ни в настоящем, ни в будущем. Юная секретарша смотрела на Касымова так, будто ждала, что он откроет ей одному ему известный смысл событий. Но погружённый в чтение Тимур без лишних слов отослал её, а Печигину указал на стул у стены. Государственный человек был не в духе: устал, раздражён, плохо выбрит. Несколько минут он черкал и правил статью перед ним, затем со стоном закрыл лицо руками.

– Что пишут! Что несут! Как я буду это печатать?! – пробормотал Касымов из-под ладоней, сжимавших и мнувших его полное лицо так, точно хотели слепить его в ком.

Он оттолкнулся ногой от пола, и вращающееся кресло совершило полный оборот вокруг своей оси. От этого Тимуру, кажется, полегчало, потому что, вцепившись в подлокотники, поджав ноги и не раскрывая глаз, он с каменно-серьёзным лицом проделал ещё несколько плавных кругов. И только затем вызвал к себе автора статьи.

Секретарша впустила в кабинет пожилого человека в толстых очках. Очки, видимо, были всё-таки недостаточно сильными: когда Касымов указывал на места в статье, которые ему не нравились, автор вынужден был подносить страницы вплотную к глазам, едва не утыкаясь в них носом, скаля при этом от напряжения зубы в жалком подобии улыбки. Разговор шёл на коштырском, так что Печигин даже не пытался понять, слышал только, что интонации становились всё более взвинченными, Тимур всё яростнее тыкал в листы пальцем, а старик всё судорожнее комкал и мял их, ища в статье ответы на упрёки Касымова. Наконец, когда автор в очередной раз вернул пачку листов Тимуру, тот оттолкнул её, старик робко положил статью на край стола, и тогда Касымов, не выдержав, точно вкрадчивое упрямство старика ещё больше его распаляло, схватил статью и швырнул под потолок кабинета. Пока листы, порхая, падали на седую голову автора, он, размахивая руками, ловил их в полёте, потом, с трудом нагибаясь на дрожащих коленях, принялся собирать с пола, уронил очки и дальше шарил по кабинету уже вслепую. Разъярённый Касымов поднялся и, сделав Олегу знак идти за ним, вышел из кабинета, постаравшись по пути к двери наступить на возможно большее количество страниц.

– Зара, помогите там убраться, – бросил на ходу секретарше. – Мы в буфет.

В буфете он всё не мог успокоиться, поперхнулся коньяком, закашлялся, раздувая щёки.

– Сил моих нет на этих журналюг! Ну кто, кто, скажи, заставлял его писать, что водохранилище в пустыне создано по проекту Народного Вожагого?! У нас для этого целое Министерство ирригации есть, сотни специалистов, президенту достаточно было дать им задание. И зачем нужно было выдумывать, что парк вокруг водохранилища разбит по его личному плану, когда этим занимался Институт лесонасаждений?! Нельзя же всё на свете приписывать Гулимову! Должно же быть хоть какое-то чувство реальности! И ведь пойдёт теперь, старый пень,

напишет кляузу, что я, мол, недооцениваю вклад Народного Вожатого. Это я-то, я недооцениваю! Я, который больше всех сделал для того, чтобы этот вклад втемяшился в голову каждому коштыру. Нет, иногда я начинаю уставать от своих соплеменников! Иногда мне кажется, что я в одиночку вынужден заполнять пустыни в их головах – а это посложнее, чем создать водохранилище в настоящей пустыне! Ты погляди на них, – Касымов кивнул на окно буфета, такое же большое, как в кабинете, но выходящее в сторону нового квартала с широкими улицами и высоким голубым куполом недавно построенного рынка, около которого кишел народ. – Они говорят между собой моими фразами, обмениваются моими мнениями, повторяют мои шутки, в сущности, видят мир моими глазами и, даже не соглашаясь, спорят лишь со мной. А знаешь, что я получаю в награду за все труды? Пародии на самого себя, которые выдают мне мои собственные мысли в таком карикатурном виде, что хоть плачь, хоть смейся! Часто я чувствую себя окружённым со всех сторон одними пародиями, которые не могут сказать мне ничего, кроме того, что я сам прежде не вложил в них! От этого устаёшь, честное слово!

Тимур допил коньяк и обмяк на стуле, взгляд расплылся, уставившись в сияние белёсого от жары неба за окном.

– И один, всегда один! Одиночество в дороге, в чужой стране – это полбеды, но одиночество на родине, среди своих, – окончательно и непоправимо. Бывает, живым словом перемолвиться не с кем! Оставайся у нас, а, Олег? С тобой мне полегче будет. Останешься?

Его потное лицо оплыло книзу, точно вся энергия разом ушла из него, израсходовавшись на взрыв в кабинете, нижняя губа оттопырилась, он глядел на Олега с искренней, нелепой в своей неосуществимости надеждой.

– А как же Гулимов? – спросил Печигин, чтобы уйти от ответа. – Разве не им полны мысли твоих соотечественников? Разве не на него ложится вся тяжесть власти?

– Народному Вожатому тяжесть неведома. Он всё делает без усилий, – заговорив о президенте, Тимур немедленно вновь воодушевился. – Пойми, пирамида власти уходит за облака, её вершина ей не принадлежит. Тайна власти в том, что высшая точка в иерархии свободна от иерархии. И эта высшая точка – наш президент. Государство – это он, но он – не только государство. И ничто не подтверждает это с такой наглядностью, как его поэзия! Гулимов существует на другом уровне, парит в своих поэтических небесах, а я здесь, вкалываю на самых ответственных должностях одновременно в четырёх местах, чтобы его вдохновение и воля могли достичь обычных людей. Он провидит грядущее, а я тут, в настоящем, выбиваюсь из сил, так что нет даже времени... – Касымов расстроенно посмотрел на часы, – нет времени показать город старому другу. Всё приходится делать самому, положиться не на кого, на мне одном тут всё держится! Знаешь что, я отправлю с тобой Зару – она девушка умная, всё, что нужно, тебе переведёт и покажет. И, кстати, по дороге в мечеть зайдите в Музей народных ремёсел и промыслов, посмотрите ковёр «Биография» – там вся история Гулимова. Тебе будет интересно.

Тимур откинулся на стуле, достал из нагрудного кармана шёлковый платок, вытер шею, по которой пот стекал за воротник, складку под затылком, второй подбородок, промокнул лицо. Глубоко вздохнул.

В музее было всё, что всегда бывает в таких музеях, без которых не обходится ни один большой город Средней Азии: бесчисленные ковры, сюзанэ, оружие, музыкальные инструменты, одежда всех возможных эпох и стилей, пыльные солнечные лучи, пересекавшие пустые залы, где потерянно блуждали редкие стайки американцев или японцев, а по углам сидели пожилые, реже молодые женщины с вязанием или журналами с программой телевидения на неделю. У некоторых не было ни журналов, ни вязания, и они просто глядели неподвижно в светлую пустоту доверенного их присмотру помещения, как это умеют, кажется, только женщины в Азии. Возможно, они спали с открытыми глазами, потому что, пройдя перед одной

такой музейной работницей, Печигин не разглядел в её лице никаких признаков того, что был замечен. Даже не моргнула.

Музей, куда привела Олега Зара, был столичным и центральным, поэтому залы в нём были просторнее, а экспонаты – древнее и роскошнее, чем обычно, но даже на их фоне ковёр «Биография», сотканный мастерами кишлака с тысячелетними ковроткаческими традициями к семидесятилетию Народного Вожатого, поражал воображение. Он едва умещался на трёх стенах самого большого зала, где посетители оказывались в окружении десятков вышитых изображений Рахматкула Гулимова на разных этапах его жизненного пути, обрамлённых бесконечным традиционным орнаментом. Правда, поскольку ткацкая техника, сохранявшаяся неизменной, как объяснила экскурсовод, на протяжении многих веков, не допускала мелких деталей, лицо Народного Вожатого не менялось, был ли он юным студентом, читающим товарищам свои первые стихи, или пожилым хаджи, совершающим паломничество в Мекку. В каждом возрасте и в любой ситуации он глядел на зрителя в упор (даже если стоял боком) широко распахнутыми тёмными глазами. Этот взгляд, застывший и в то же время говорящий, но как будто всегда лишь одно-единственное слово, был уже у гигантского младенца (пропорции фигур тоже были далеки от реальных), которого мать протягивала сияющему от счастья отцу – а на самом деле стоящему перед ковром зрителю. Не изменился он и у школьника с комсомольским значком на лацкане, и у военачальника, обращающегося перед решающим боем к солдатам со своего БТРа.

Экскурсовод, крупная женщина лет сорока пяти с туго заплетёнными косами и скуластым лицом крестьянки, по-русски говорила плохо. Прежде, сказала она, с русскими работала другая сотрудница, сама русская, но она уволилась и уехала к родственникам в Калугу, а поскольку приезжих из России, желающих посетить музей, очень мало, можно сказать, совсем нет, то никого на её место брать не стали. Она то и дело запинаясь, забывала нужные слова и тогда начинала волноваться, краснея от смущения под смуглой кожей и изображая запропавшее слово взрывчатыми жестами больших неловких рук – так пыталась она показать грузовик, танк и даже инаугурацию президента. Зара спешила прийти к ней на помощь, при этом волнение зрелой женщины передавалось ей, и голос её делался глубоким, чуть хриловатым, точно она сообщала Печигину нечто очень личное. Она заметно переживала из-за косноязычия сотрудницы музея, боясь, что Печигин может получить из-за этого неверное представление о жизненном пути Народного Вожатого, и изо всех сил старалась дополнять рассказ экскурсоводши собственными деталями и пояснениями. Так совместными усилиями, подхватывая друг у друга нить рассказа, две взволнованные женщины описывали Олегу восхождение Гулимова, и то, что у сотрудницы музея получалось бессвязным и невразумительным, из уст Зары выходило значительным, не до конца ясным, но безусловно важным для каждого из живущих, просто не все ещё это осознали. В сцене, запечатлевшей провозглашение независимости Коштырбастана, Гулимов стоял уже по правую руку тогдашнего главы государства. Затем разразилась гражданская война, и Народный Вожатый возглавил одно из соединений Национального фронта, боровшегося с исламистской оппозицией. Заре тогда было всего восемь лет, при обстрелах её семья пряталась в подвале, однажды она выскочила оттуда за забытой куклой, которую всегда брала с собой, и на неё рухнуло стекло из выбитой взрывом рамы, но она уцелела и даже не очень испаралась осколками. Она говорила об этом быстро, запинаясь от спешки, торопясь вставить свой рассказ в паузу, пока экскурсоводша подбирала слова. В том бою город был освобождён от исламистов танковой бригадой под командованием Народного Вожатого, так что для Зары этот случай означал её личное участие в биографии президента. Вспоминая, она едва заметно щурилась, ресницы дрожали, и Печигин поневоле представлял дождь осколков, сыплющийся на эти большие глаза, на нежную кожу узкого сосредоточенного лица. Она сказала, что только чудом осталась тогда жива и не лишилась зрения. Этим чудом Зара с тех пор считала себя обязанной Народному Вожатому. Несомненность лично ею пережитого в детстве чуда

придавала для неё достоверности всем остальным запечатлённым на ковре чудесам, которых в биографии Гулимова хватало. Над его головой то и дело возникало кучерявое облако, заслонявшее его от палящего солнца, в решающем сражении пехоту и артиллерию противника сияющим мечом поражала из-за туч рука ангела, а во время изнурительного марша по безводной пустыне Гулимов стрелял из командирского пистолета в камень, и из него начинала фонтаном бить вода. Экскурсоводша рассказывала о людях, воевавших вместе с Народным Вожатым и специально приходивших в музей подтвердить, что они своими глазами видели облако, неотступно следовавшее за боевой колонной Гулимова, накрывая её своей тенью, и пронзительный луч, пробившийся сквозь тучи в переломный момент боя, слепя вражеских наводчиков. В сцене инаугурации рядом с президентом помимо известных политиков были вытканы легендарные предки и прародители коштыров, они стояли за спиной Народного Вожатого и во время подписания мирного договора, положившего конец гражданской войне. Подписание состоялось в Москве, принимавшей посильное участие в конфликте, поэтому сумрачные фигуры бородатых прародителей в чалмах и чапанах сутулились на фоне кремлёвских стен и башен со звёздами. Особенно волновалась экскурсоводша, говоря о ранении Гулимова незадолго до конца войны – на ковре он падал на руки обступивших его бойцов – и о покушении на Народного Вожатого. Враги подложили взрывчатку под колёса президентского поезда, три из четырёх вагонов сошли с рельсов, но Гулимов спасся, уйдя незадолго до взрыва в последний, четвёртый вагон, где находилась охрана, играть с охранниками в нарды. Оставив к тому времени попытки изъясниться по-русски, экскурсоводша говорила на коштырском, а Зара переводила. По её голосу, прерывавшемуся, когда речь шла о ранении и покушении, было ясно, что в эти моменты для неё висела на волоске не только судьба Народного Вожатого, но и всего мира, и уж точно – её собственная. Ни тени улыбки не возникло у неё и тогда, когда они достигли сцены, изображавшей Гулимова читающим свои стихи молодой паре дехкан, вместе с которыми его самозабвенно слушали их верблюд, ослик и кошка, а с нависавшего над ними утёса, склонив длинное мечтательное лицо, внимал поэзии тонконогий джейран. В секретарше Тимура была напряжённая серьёзность с детства впитанной веры, укреплённой испытаниями войны, разрухи и многим другим, о чём Олег мог только догадываться. Сам не способный поверить ни во что, кроме поэзии, он всегда испытывал гораздо больше интереса к верующим (во что бы то ни было), чем к неверующим. Первые обладали доступом в закрытое для него измерение, ощутимой со стороны тайной. В Заре присутствие этой притягательной тайны было настолько заметно, точно она наполняла её до краёв, как глубокий вдох, и проявлялась, захватывая, в каждом уверенном движении. Так что мысль о том, что густая чернота её бровей должна иметь продолжение в других интересных местах её небольшого, тщательно скрытого платьем тела, возникла сама собой и уже не отпускала.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.